

6.90 $\frac{1}{99}$



Вып. № 48.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДЖЕК ЛОНДОН

JACK LONDON

1875—1917

179.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

П Е Р Е В О Д
Е. БРОЙДО ПОД
РЕДАКЦИЕЙ И
С ПРИМЕЧАНИЯМИ
ЕВГ. ЗАМЯТИНА

540/99



ПЕТЕРБУРГ

1922

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



Р. Ц. Петроград. Печ. 3.500 экз.

26-я Госуд. тип. Измайловский пр., д. 29.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ *).

Усталые и измученные брели они вдоль оврага, и шедший впереди споткнулся о набросанные груды острых камней. Их было двое. Оба утомились и ослабли, и на лицах у них застыло выражение тупого терпения—неизбежного спутника долго переносимых страданий. Они были тяжело нагружены завернутыми в одеяло узлами. Узлы они несли на плечах, и ремни, перекрещивающиеся на лбу, поддерживали эти узлы. Оба имели при себе ружья. Шля согнувшись, плечи вперед, головы—еще дальше вперед; глазами—установились в землю.

— Если бы хоть два патрона из тех, которые лежат в нашем тайнике,—сказал шедший позади.

Его голос звучал безнадежно и равнодушно. Он говорил без всякого одушевления, и шедший впереди, спотыкаясь в белесоватой воде, бежавшей через камни, не удостоил его ответом.

Второй человек шел по пятам первого. Они

*) Статья о жизни и деятельности Джека Лондона в выпуске № 13 народного издания „Всемирной Литературы“ („Сын Волка“).

не сняли своей обуви, хотя вода была холодна как лед,—так холодна, что в щиколках ломило, а ступни совсем онемели. В некоторых местах вода достигала до колен, и оба человека спотыкались и чуть не падали с ног.

Шедший позади поскользнулся о гладкий валун, почти упал, но, сделав над собою громадное усилие, вновь поднялся, громко крикнув от острой боли. Он казался слабым и больным и, шатаясь, протянул руку вперед, как бы ища опоры в воздухе. Став твердо на ноги, он двинулся вперед, но опять покачнувшись и еле устоял. Тогда он остановился и посмотрел на другого человека: тот все шел впереди, и ни разу не повернул голову назад.

Споткнувшийся человек с минуту стоял молча, как будто рассуждая сам с собою. Затем закричал:

— Билль, слышишь, я свихнул себе щиколку.

Билль продолжал брести по молочно-белой воде. Он не оглядывался. Товарищ Билля глядел ему вслед; лицо у отставшего попрежнему оставалось бесстрастным, но в глазах появилось выражение, какое бывает у раненого оленя.

Билль, ковыляя поднимался вверх к следующему оврагу, и продолжал свой путь ни разу не оглянувшись. Человек, стоявший в потоке, смотрел вслед Биллю. Губы у этого человека

тряслись, так что даже заметно было, как вздрагивала на губах жесткая щетина темных усов.

Человек облизал себе языком пересохшие губы.

— Билль!—закричал он.

Это был крик мольбы сильного человека, попавшего в беду, но Билль не обернулся. Человек смотрел, как Билль неуклюже ковылял и двигался вперед спотыкающимся шагом, поднимался вверх по отлогому уклону, уходил навстречу горизонту, мягко окаймлявшему невысокий холм. Человек смотрел вслед Биллю, пока тот не достиг вершины и не исчез за нею. Тогда человек тихо отпрянул кругом и обнял своим взором весь небольшой мир, оставшийся ему после того, как Билль покинул его.

На горизонте смутно мерцало солнце, почти закрытое туманом и бесформенными облаками; это были пустые массы без определенных контуров. Человек вынул свои часы, перевесившись всей тяжестью с вывихнутой ноги на здоровую. Было четыре часа, и так как был конец июля или начало августа месяца (он знал с точностью до недели или даже до двух недель), то солнце должно было стоять, приблизительно, на северо-западной части неба. Человек посмотрел на юг и знал, что где-то за этими черными холмами находится Большое Медвежье

озеро: он знал также, что именно в этом направлении полярный круг проходит запретной чертой через Канадскую пустыню. Река, в которой сейчас стоял человек, была притоком реки Копермайн, которая, в свою очередь, течет на север и впадает в бухту Коронации и Ледовитый океан. Человек никогда там не был, но видел однажды карту Компании Гудсонова Залива *).

Еще раз он обвел глазами полный круг по горизонту. Зрелище было неутешительное. И тут и там—везде была все та же мягкая линия неба. Холмы кругом были невысокие. Нигде ни дерева, ни кустика, ни травки,—ничего, кроме страшной пустыни, от вида которой выражение тихого ужаса появилось в глазах человека.

— Билль!—прошептал он раз и другой,—Билль!

Он опустился прямо в эту молочно-белую воду, как будто простор пустыни придавил его с непреодолимой силой, грубо сокрушив его своим всепокоряющим ужасом. Человек начал трястись, как в лихорадке, так что ружье со всплеском выпало у него из рук. Это заставило его подняться. Он боролся со своим страхом, и, роаясь в воде, чтобы достать ружье, все время старался овладеть собой. Свой узел он сдвинул

*) Гудсонов залив—в сев.-восточной части Америки. Прочие названия относятся к той же области.

еще более на левое плечо, как бы для того, чтобы снять часть веса с поврежденной ноги. Затем он двинулся дальше по направлению к оврагу, двинулся медленно и осторожно, ежась от боли и еле переставляя ноги.

Он не останавливался. С отчаянием, походившим на безумие, забывая о боли, он карабкался по откосу к вершине холма, за которым скрылся Билль,—еще более причудливый и смешной, чем его хромавший и спотыкавшийся товарищ. Но с вершины холма открылся вид на низкую равнину, совершенно безжизненную. Человека опять охватил страх, но он справился с собой, еще более сдвинул тюк на левое плечо и стал спускаться с холма.

Дно долины было насыщено водой; водой был пропитан, на подобие губки, толстый слой мха, покрывавший долину. Эта вода хлопала при каждом шаге и всякий раз, как человек поднимал ногу, как мокрый мох нехотя освобождал его ступню. Это хлопанье переходило в какой-то сосущий, чмокающий звук. Человек ковылял с кочки на кочку и шел по следам ушедшего вперед товарища вдоль и поперек скалистых выступов, торчавших точно острова в море мха.

Теперь он был один, но все же не растерялся. Он знал, что там, дальше, он придет к такому месту, где черная береза и пихта, очень низкорослые и чахлые окаймляют берег малень-

кого озера, — «Тичниичили» на местном наречии, то-есть «Страна хвороста». А в это озеро впадает небольшая речка, вода в которой уже не так мутна. Там на берегу растет только тростник — он это помнит очень хорошо — тростник, а деревьев нет. Он пойдет вниз по этой речке до тех пор, пока она не разветвится на два рукава. Он пересечет это место разветвления и доберется до истоков другой речки, текущей на запад; по ней он пойдет до тех пор, пока она не впадет в реку Дизу, и тут-то под опрокинутой лодкой есть тайник, покрытый грудой камней. В этом тайнике найдутся патроны для его ружья, крючки и леса для ловли рыбы, небольшая сеть, — все орудия для добывания пищи. Он найдет там также муку, правда — немного; найдет кусок ветчины и бобы.

Билль будет его ждать там, и они вместе спустятся на лодке к югу, вниз по Дизу к большому Медвежьему озеру, и на юг пойдут они через озеро — неизменно на юг, пока не достигнут реки Мэкэнзи.

И на юг, на юг пойдут они, и зима будет тешно гнаться за ними, а лед остановит водовороты, и дни станут жгуче холодные, — на юг к теплому посту Гудсоновской Компании, где лес растет высокий и пышный, и где пищи много, без конца.

Таковы были мысли человека, пока он ме-

дленно подвигался вперед. Трудна была его борьба с телом, но не менее трудную борьбу приходилось ему вести с своими мыслями: он все время старался убедить себя, что Билль не бежал от него, что Билль наверное будет ждать его у тайника. Он вынужден был думать так — иначе не было смысла бороться, и надо было просто лечь и умереть. И к тому моменту, когда мутный солнечный диск тихо закатился на северо-западе, человек уже рассчитал каждый шаг своего, вместе с Биллем, бегства от наступающей зимы к югу — все к югу. И человек снова и снова перечислял запасы провизии в тайнике и запасы провианта на посту Гудсоновской Компании. Он не ел уже два дня; но еще дольше — он не доедал. Часто он останавливался и собирал бледные ягоды, росшие на кочках, клал их в рот, жевал и проглатывал. Эти ягоды представляли собой комочек семени, заключенный в каплю воды. Во рту вода вытекала, а семя имело терпкий и горький вкус. Человек знал, что никакой питательности в этих ягодах нет, но он терпеливо жевал их с надеждой, которая сильнее, чем знание, и не считается с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги об острый край камня и, от усталости и слабости, споткнулся и упал. Некоторое время он лежал без движения на боку. Затем он освободился от ремней, державших тюрк, и с трудом сел. Было

еще не очень темно, и при неясном мерцающем свете сумерек ему удалось набрать между камнями сухой мох. Собрав целую кучу мха, человек развел огонь — тусклый, дымящий огонь — и поставил кипятить котелок с водой.

Он развязал свой узел и, первым делом, считал спички. Их было шестьдесят семь. Он пересчитал их три раза, чтоб окончательно убедиться. Затем разделил спички на несколько порций, завернул в восковую бумагу и одну часть положил в пустую табакерку, другую — в складку своей поношенной шляпы, а третью — спрятал на груди, под рубашкой. Вдруг его опять охватил страх, он снова собрал все спички вместе и опять пересчитал их. Их было ровно шестьдесят семь.

Он высушил свою мокрую обувь у огня. Моккасины представляли собою сырые отрезья кожи. Чулки, сшитые из одеяла, были порваны во многих местах, ноги были изранены и окровавлены. Свихнутая щиколка ныла, человек внимательно осмотрел ее. Она вся распухла, и опухоль поднялась уже до колена. Он оторвал длинную полоску от одного из своих двух одеял и туго перевязал щиколку, затем нарвал еще несколько полос и обвязал ими ноги: эти полосы должны были заменить собою и моккасины и чулки. После того он выпил котелок горячей воды, зевнул и завернулся в свои одеяла.

Он спал как мертвый. Около полуночи ненадолго стемнело — и опять рассвело. Солнце поднялось на северо-востоке, вернее, день занялся в этой части горизонта: самое солнце было закрыто серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел ввысь — в серое небо — и почувствовал, что голоден. Повернувшись на локте, он вздрогнул от громкого сопения и увидел самца-карибу, глядевшего на него с живым любопытством. Животное находилось в расстоянии не более пятидесяти шагов; тотчас же в уме человека возникли вид и запах мяса карибу, — мясо жарится на огне, шипит. — Машинально человек схватил свое незаряженное ружье, взял на прицел и спустил курок. Животное фыркнуло и убежало, стуча копытами по камням.

Человек выругался и опшвырнул от себя ружье. Затем попытался стать на ноги и громко застонал. Это была медленно и трудно осуществляемая работа. Его суставы были точно заржавленные петли. Они с трудом и большим трением вращались в своих чашечках, и для каждого движения требовалось большое усилие воли. Когда, наконец, он овладел своими ногами, ему потребовалась еще минута-другая, чтобы заставить себя стоять прямо, как полагается человеку.

Он вскарабкался на небольшой бугорок и

осмотрел окрестности. Тут не было ни деревьев, ни кустов, ничего, кроме серого моря мха, слегка разнообразившегося серыми скалами, серыми озёрками и серыми реченками. Небо было серо. Не было ни солнца, ни намека на солнце. Человек не имел представления о том, где север, и он забыл направление, по которому дошел вчера до этого места. Но он не заблудился, он знал это. Скоро он придет к «стране хвороста». Он чувствовал, что эта страна—где-то тут, влево, недалеко,—пожалуй, где-нибудь вон за тем невысоким холмом. Человек вернулся, чтобы поудобней увязать свой узел для дальнейшего путешествия. Еще раз он проверил, что налицо все три пачки спичек, хотя и не стал пересчитывать их. Затем остановился в раздумьи над плоским мешочком из лосиной шкуры; мешочек был не велик—всего в пригоршню. Человек знал, что мешочек весит пятнадцать фунтов—столько же, сколько весь остальной багаж в узле; было тяжело нести этот мешочек. Наконец, человек отложил в сторону пятнадцатифунтовый мешок и стал свертывать узел. Остановился, еще раз посмотрел на мешочек из лосиной шкуры—и вдруг быстро схватил его и вызывающим взглядом оглядел все кругом, как будто пустыня хотела отнять мешочек. И когда человек поднялся на ноги, чтобы двинуться в путь, мешочек, в числе прочих вещей, был увязан в узле за спиной.

Человек пошел влево, время от времени останавливаясь, чтобы набрать ягод. Щиколка сделалась неподвижной, хромота увеличилась, но боль в ноге была ничтожна по сравнению с болью в желудке. Муки голода были невыносимы. Они все грызли и грызли, и, наконец, человек уже не в состоянии был сосредоточить мысли на том, чтобы идти в нужном направлении—в направлении к «стране хвороста». Ягоды не уменьшили голода, а от их жгучего, терпкого сока только щипало язык и небо.

Человек прошел, наконец, в долину. Тут, на выступах скал и кочек сидели горные куропатки; при появлении человека, они с шумным взмахом крыльев поднялись и улетели. «Кэр-кэр-кэр»,—раздался их крик в отдалении. Человек бросал в куропаток камнями, но не попал. Он опустил свой узел на землю и глядел вслед птицам, как кошка на воробья. Острые камни резали его перевязанные ноги, и, наконец, по ноге от колена потекла струйка крови. Но боль от ран растворилась в муках голода. Человек обмотал ногу свернутой мокрой мхом, при чем вымочил одежду и застудил тело; но он не чувствовал этого; так жестоко мучила его лихорадка от голода. И все время взлетали куропатки, кружась перед ним, пока их «кэр-кэр-кэр» не сделалось пыткой для него; он проклинал их и громко кричал, слымая свой крик с их криком.

Один раз он наступил на птицу, которая, по-видимому, спала. Он не заметил ее пока она с своего скалистого ложа не взлетела ему прямо в лицо. Он схватил куропатку с такой же быстротой, с какой она появилась перед ним, и в руках у него осталось несколько перьев из ее хвоста. Птица улетела, а человек глядел ей вслед—и ненавидел ее, как если бы она причинила ему страшное зло. Затем он вернувшись и поднял на плечи свой узел.

Тянулся день; человек проходил через долины и топи, где было больше дичи. Показалось стадо карибу; их было штук двадцать, и они подошли на расстояние ружейного выстрела. Человек испытывал муки Тантала *), у него было дикое желание погнаться за животными, он был уверен, что сможет догнать их. Черная лисица появилась перед ним, держа куропатку в зубах. Человек вскрикнул. Это был страшный крик, лисица испугалась и убежала, но все же не вырвала куропатки.

Под конец дня он шел вдоль речки, мутной от глины, окаймленной редкими группами тростника. Раздвигая этот тростник, чтобы проложить себе дорогу, он нашел нечто вроде луковичного

*) По древне-греческой легенде, Тантал в наказание за то, что выдал тайну богов, был ими осужден на вечный голод: он стоял по горло в воде, но не мог пить, плоды свешивались над ним, но он не мог достать их рукой.

стебля, толщиной не больше гвоздя. Растение казалось таким нежным, и зубы человека впились в него с хрустом, говорившим о наслаждении едой. Но стебель на самом деле был мало съедобен. Растение состояло из жестких волокон, пропитанных водой, вроде тех ягод на кочках; ничего питательного не было. Но все же человек сбросил свой мешок и начал ползать на четвереньках в тростнике, громко хрустя и чавкая, как животное.

Он очень устал; все чаще им овладевало желание отдохнуть,—лечь и спать, спать; но его вечно что-то гнало вперед,—и это было не столько желание добраться до «страны хвоста», сколько голод. Человек выискивал мелкие лужицы, в надежде найти лягушек, и рыл ногтями землю в поисках червей, хотя знал, что ни лягушек, ни червей не водится на таком дальнем севере.

Он осматривал по пути каждую лужу, но ничего не находил. Наконец, наступили долгие сумерки, и тут в одной луже он увидел рыбу, похожую на миногу. Он опустил в воду руку до самого плеча, но рыба ускользнула. Он опустил и другую руку, стараясь схватить рыбу, но только взболтал муть со дна. От волнения он потерял равновесие, упал в воду и вымок весь до пояса. От этого вода сделалась такой мутной, что уж нельзя было и надеяться раз-

глядеть рыбу; человек принужден был ждать, пока муть осядет.

Охота продолжалась, пока вода опять не сделалась мутной. Но он не мог больше ждать. Он отвязал свой оловянный котелок и начал черпать воду из лужи. Сначала он черпал с дикой поспешностью, обливая себя и выливая воду так близко, что она втекала обратно в лужу. Потом он начал работать более тщательно, стараясь быть хладнокровным, хотя сердце у него колотилось и руки дрожали. Спустила лужа была почти вся вычерпана. Не осталось и чашки воды в ней. Но рыбы никакой не оказалось. Он обнаружил скрытую щель между камнями, которая соединяла эту лужу с другой, побольше, и в эту то другую лужу рыба, очевидно, и спаслась. Но эту вторую лужу он не мог бы осушить и в сутки. Если бы он раньше заметил щель, он заложил бы ее камнем еще в самом начале, и теперь рыба была бы уже у него в руках.

Так размышлял он, когда выбрался из лужи и опустился на мокрую землю. Сначала он тихо всхлипнул про себя, затем громко закричал в безжалостную пустыню, которая стальным кольцом охватывала его со всех сторон, и еще долго после он весь дрожал от громких рыданий без слез.

Он развел огонь и согрел себя тем, что пил

горячую воду кружка за кружкой; спать он улегся на выступе скалы, как и в прошлую ночь. Затем он осмотрел свои спички, пощупал, сухи ли они, и завернул их опять. Одежда была влажна и выпачкана в глине. Щиколка болезненно ныла. Но он чувствовал только одно — что он голоден, и во все время своего беспокойного сна бредил о празднествах и банкетах и о пище, приготовленной во всевозможных видах.

Проснулся озябший, больной. Солнца не было. Серый цвет земли и неба сделался еще более непроницаемым. Дул холодный ветер, и хлопья первого снега покрыли белой пеленой вершины гор. Водах стал гуще и весь побелел, пока он разводил огонь и кипятил воду. Снег был мокрый, похожий скорее на дождь, — хлопья крупные и влажные. Сначала они таяли тотчас же, как соприкасались с землей. Но снег все валил, покрыл толстым слоем землю, затушил огонь: последнее прибежище — костер из мха — было теперь уничтожено.

Это послужило сигналом для того, чтобы навьючить узел и брести дальше, — неизвестно куда. Человека не интересовала больше ни «страна хвороста», ни Билль, ни тайник под опрокинутой лодкой у реки Диз. Им владел всецело глагол «есть». Он сходил с ума от голода. Он не обращал внимания на путь, кото-

рым он шел, пока этот путь шел через влажные низины. Он чувствовал свой путь только тогда, когда шел по мокрому снегу к водянистым ягодам и когда вырывал с корнем тростник. Но это была безвкусная пища, и голода она совершенно не утоляла. В одном месте он нашел травку, имевшую кислый вкус, и съел ее всю, но ее было очень немного; это было ползучее растение, легко скрывавшееся под несколькими дюймами снега.

У него не было в эту ночь ни огня, ни горячей воды, и он спал, свернувшись под своим одеялом—спал тревожным сном голодного человека. Снег перешел в холодный дождь. Несколько раз человек просыпался от того, что дождь падал ему прямо на лицо. Наступил день,—серый, без солнца. Дождь перестал лить. Острое ощущение голода исчезло. Чувствительность, в смысле страстного желания есть, припустилась. Он чувствовал тупую, тяжелую боль в желудке, но эта боль не особенно мучила его. Он теперь больше владел своим разумом и, главное, гораздо больше интересовался «страной хвороста» и тайником на реке Дия.

Он разорвал на полосы остаток одного из своих одеял и перевязал свои окровавленные ноги. Перетянул также вывихнутую щиколку и приготовился в путь. Подойдя к своему узлу,

он долго колебался над лосиным мешочком, но, в конце концов, опять взял мешочек с собою.

Снег растаял от дождя, и только вершины холмов оставались белыми. Выглянуло солнце. Путнику удалось установить направление, и он теперь определенно знал, что заблудился. По-видимому, в предыдущие дни он уклонился слишком далеко влево. Теперь он взял вправо, чтобы восстановить правильное направление.

Муки голода теперь уже не так терзали его, но он чувствовал себя очень слабым. Он принужден был часто отдыхать, когда наклонялся в поисках ягод, или обшаривал кусты камыша. Язык стал какой-то сухой, распух, и как будто весь был покрыт тонкой шерстью. Во рту ощущалась горечь. Сердце тоже причиняло путнику немало страданий. Прошагает он несколько минут—и сердце начнет выстукивать свое безостановочное тап-тап-тап, затем всколыхнется—и вниз, и мучительно колотится в груди. По временам он от этого почти терял сознание; голова затуманивалась, кружилась.

В середине дня он увидел двух миног в большой луже. Было невозможно вычерпать ее, но теперь он был уже хладнокровнее и решил выловить миноги своим котелком. Миноги были не длиннее его мизинца, но особенного голода он теперь даже и не чувствовал. Тупая боль в желудке становилась все более тупой и сла-

бой. Казалось, что его желудок уснул. Он съел рыбу сырой, разжевывая ее с болезненной тщательностью,—еда была для него делом чисто рассудочным. Он не хотел есть, но он знал, что должен есть для того, чтобы жить.

Вечером он поймал еще три миноги, съел две и оставил одну на завтра. Солнце высушило кое-где отдельные куски мха—и человек мог согреться кипятком.

Он прошел не более десяти миль в этот день; а на следующий день, двигаясь, когда это позволяло ему сердце, он прошел не более пяти миль. Но желудок не причинял ему ни малейшей боли. Путник находился теперь в незнакомой местности; тут карибу встречались в большом количестве, и в неменьшем—волки. Часто вой их прорезывал пустыню, и однажды он увидел совсем близко трех волков; при виде человека они убежали.

Еще одна ночь; на утро человек стал разумней; он отвязал кожаный ремень, которым за плечами был привязан мешочек из лосиной кожи. Из открытого отверстия мешка желтым дождем посыпался крупный золотой песок и золотые слитки. Человек разделит золото приблизительно пополам, одну половину завернул в кусок одеяла и спрятал на выдающемся выступе скалы, а вторую половину положил обратно в узел. Затем он начал отрывать куски от

последнего своего одеяла, чтобы обвязать ноги. Ружье свое он не хотел бросить, потому что к ружью имелись патроны в тайнике у реки Диз.

День был туманный, и в этот день опять проснулось чувство голода. Человек был очень слаб; временами у него начиналось головокружение, и он тогда ничего не видел. Теперь для него это стало обычным—споткнуться и упасть; и вот, упав однажды, он попал в гнездо куро-паток. Там находились четыре только что вылупившихся птенца, проживших на белом свете всего только один день, небольшие комочки пульсирующей жизни, величиной в один глоток; и вот, человек хищно набросился на них, запихивая их живыми в рот и хрустя зубами, как если бы он грыз яичную скорлупу. Куропатка-мать летала вокруг него с громким криком. Он размахивал своим ружьем, как палкой, стараясь убить ее, но она летала всетаки не настолько близко, чтобы он мог ее достать. Он начал тогда бросать в нее камнями, один раз попал и переломил ей крыло. Куропатка отлетела в сторону, волоча свое сломанное крыло, а человек пустился за ней в догонку.

Маленькие птенчики лишь раздражили его аппетит. Он неуклюже хромал и качался на своей вывихнутой ноге, бросая камни и громко

вскрикивая от боли; временами он ковылял тихонько, сердито, но после падения всякий раз терпеливо приподнимался, а когда головокружение грозило ему потерей сознания—усиленно протирая рукою глаза.

Охота увлекла его через топь ко дну долины и тут, на влажном мху, он набрел на человеческие следы. Это был не его собственный след,—ясно. Это, должно быть, был след Билля. Но человек не мог остановиться, потому что он все еще догонял куропатку-мать. Сначала надо поймать ее, а потом можно вернуться и пойти по следу.

Человек, наконец, загнал куропатку, но загнал и себя. Куропатка лежала, задыхаясь, на боку, но и он тоже лежал, задыхаясь, на боку, на расстоянии какого-нибудь десятка шагов,—и все же не был в состоянии доползти до нее. Когда человек шевелился—куропатка тоже шевелилась, когда человек протягивал свою голодную руку—куропатка отползала на такое расстояние, что ее нельзя было достать. Охота возобновилась. Но спустилась ночь—и птица спаслась. Человек пошатнулся от слабости, упал лицом вниз, как был—с узлом на плечах—и разбил себе щеку. Он долго лежал без движения, затем повернулся на бок, завел часы и отсасывался, не двигаясь до утра.

Еще один туманный день. Половина послед-

него одеяла ушла на перевязки для ног. Он не стал разыскивать следов Билля. Это не важно. Голод гнал его вперед слишком настойчиво, только... только хотелось ему знать, не заблудился ли и Билль также?

В полдень тяжесть узла стала слишком ощутительной. Человек еще раз разделил золото, на этот раз просто высыпав половину его на землю. К концу дня он выбросил и все остальное золото, оставив себе лишь половину одеяла, оловянный котелок и ружье.

Его начали мучить галлюцинации *). Ему казалось, что в ружье у него остался один заряд. Заряд этот, будто бы, остался в магазине ружья незамеченным. С другой стороны, он все время твердо знал, что магазин ружья—пуст. Но тем не менее галлюцинация не оставляла его. Он боролся с ней долгие часы, но затем должен был открыть ружье, чтоб убедиться, что оно пусто. Разочароваться — было очень горько, как если бы он, действительно, ожидал найти заряд.

Он побрел дальше, но спустя полчаса галлюцинация возобновилась. Он опять изо всех сил боролся, но так как галлюцинация все продолжалась, то для успокоения он вновь открыл затвор. Временами мысли у него затуманива-

*) Галлюцинация—болезненное состояние, когда человек видит или слышит то, чего нет на самом деле.

лись, он брел, точно автомат, и в мозгу его, точно черви, копошились странные образы и видения. Но эти экскурсии в область нереального были краткосрочны, потому что муки голода быстро возвращали его к действительности. Один раз он внезапно пришел в себя от такого видения, которое чуть не свело его с ума. Он зашатался, как пьяный, готовый упасть. Перед ним стоял конь. Конь! Человек не верил своим глазам. Глаза застилал густой туман, прорезанный блестящими точками света. Он дико протер глаза, чтобы видеть яснее,—и вот, перед ним уже не конь, а огромный бурый медведь. Животное смотрело на человека с воинственным любопытством.

Человек наполовину уже поднял ружье к плечу—и только тут сообразил положение вещей. Он опустил ружье и вытащил охотничий нож из чехла, висевшего у пояса. Перед человеком была пища и жизнь. Он провел пальцем по лезвию ножа. Лезвие было остро. Конец ножа—тоже был острый. Человек не станет ждать: он первый нападет на медведя и убьет его. Но тут сердце начало свое предостерегающее—тамп, тамп, тамп. Затем оно колыхнулось вверх и начало выбивать мелкую дробь, лобсжало точно железными обручами, мозг заволокло туманом.

Храбрость отчаяния была побеждена прили-

вом страха. Что, если животное нападет на него,—ведь, сейчас у него совсем нет сил. Человек подтянулся, принял возможно более внушительный вид, крепко держа нож и не спуская глаз с медведя. Медведь сделал два-три неуклюжих шага вперед, поднялся на задних лапах и заревел. Это была проба: если бы человек побежал, медведь побежал бы за ним; но человек не бежал. Он был воодушевлен теперь храбростью страха. Он тоже зарывал дико, страшно, изливая в звуках страх, родственный жизни и тесно переплетающийся с глубочайшими корнями жизни.

Медведь подался в сторону, издавая угрожающий рев; медведь был удивлен этим таинственным существом, стоящим прямо и безбоязненно. Но человек все не двигался. Он стоял как статуя, пока не миновала опасность; тут его схватила дрожь, и он ничком упал на мокрый мох...

Он собрался с силами и двинулся дальше; теперь у него появился новый страх. Это была уже не боязнь умереть пассивно от недостатка пищи; теперь человек боялся, что, прежде чем голод обесилит его и потопит в нем последнюю искру жизни—он погибнет насильственной смертью. Тут есть волки. Спереди и сзади, и со всех сторон несется через пустыню их неумолчный вой,—самый воздух презращался

в какую-то фабрику угроз, и эта угроза была так реальна, что, придя в себя, человек поймал себя вот на чем: он вытянул руки в воздухе и старательно отстранял от себя что-то, как если бы это были стены развешаемой ветром палатки.

Снова и снова появлялись волки, стаями, по два и по три, перебегали дорогу. Но они проходили мимо. Их было не так уж много и, кроме того, они предпочитали охотиться на карибу; карибу—не сопротивлялись, а это странное существо, движущееся стоймя, может быть, будет кусаться и царапать.

К концу дня человек пришел к груде костей: тут, очевидно, недавно пировали волки. Кости эти час тому назад представляли собой молодого карибу, мычавшего и бегавшего, полного жизни. Человек рассматривал кости, чисто обглоданные и отполированные, пронизанные клеточной жизнью, еще не покинувшей их. Возможно, что и он превратится в такую же груду костей, прежде чем наступит новый день. Такова жизнь, правда? Суетная и преходящая вещь. Жизнь только в мучениях. В смерти—нет муки. Умереть—значит заснуть. Смерть—значит отдых, покой. Почему же он не хочет умереть?

Но он не долго предавался размышлениям. Он сжегился во мху, во рту у него была кость,

и он высасывал живые соки из слабо окрашенных пор. Сладкий вкус мяса, тонкий, призрачный, почти как воспоминание, сводил его с ума. Он сжал кость в челюстях и начал грызть ее. Иногда ломалась кость, иногда ломался его зуб. Затем он начал разбивать кости камнем, измельчивая их и превращая в кашу. Второпых, случалось—он разбивал также и свои пальцы; был момент, когда он очень удивился: почему это пальцам не больно, когда попадаешь по ним камнем?

Наступили ужасные дни с снегом и дождем. Человек уже не чувствовал, когда отдыхал, когда опять пускался в путь. Он шел ночью, шел днем. Он отдыхал там, где падал, и начинал опять кочевывать тогда, когда замирающая жизнь в нем вспыхивала вновь и теплилась менее призрачно. Как человек, он больше не сопротивлялся. Просто жизнь в нем еще не хотела угаснуть и гнала его вперед. Он не страдал. Его нервы притупились, онемели, а мозг был наполнен странными видениями и восхитительными грезами.

Но все время он неизменно сосал и жевал разбитые кости молодого карибу,—остатки этих костей он собрал и взял с собою. Он не пересекал больше холмов и ущелий, а машинально шел берегом большой реки, протекавшей по широкой плоской долине. Он не замечал ни

реки, ни долины. Он не видел ничего, кроме своих бредовых образов. Душа или тело шли, или ковыляли бок-о-бок, но отдельно,—так тонки были узы, соединявшие их.

Когда он проснулся—в голове у него было совершенно ясно. Он лежал на спине, на выступе скалы. Солнце сияло ярко. Было тепло. Издали доносилось бляение молодых карибу. В уме сохранилось воспоминание о дожде, и ветре, и снеге, но когда именно трепала его буря, —два дня или две недели тому назад,—он не знал этого.

Несколько времени он оставался без движения, грея свое жалкое тело под благодатными лучами горячего солнца. Прекрасный день, думал он. Пожалуй, он сможет разобраться, где он. С мучительным усилием он перевернулся на другой бок. Внизу протекала широкая, медленная река. Местность была совершенно незнакомая—и это поразило его. Он медленно следил глазами за рекой, извивавшейся между голыми черными холмами,—более черными, более голыми и низкими, чем когда либо виденные им. Тихо, задумчиво, без всякого волнения, с чисто отвлеченным интересом проследил он течение незнакомой реки, вплоть до самого горизонта, и заметил, что река впадает в большое сияющее море. И он все же оставался равнодушным. Удивительно!—думал он,—виде-

ние или мираж,—скорее видение, плод его расстроенной фантазии. Он окончательно укрепился в этом предположении, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди моря. Закрыл глаза на минуту, затем вновь открыл их. Странно, до чего упорно это видение. Однако, ничего странного тут нет. Он знал, что не было никаких морей или кораблей посреди пустыни, точно так же, как раньше он знал, что нет заряда в ружье.

Позади себя он услышал какое-то сопенье,—полуглушенное дыхание или кашель. Очень медленно—была такая слабость онемелости во всем теле—он перевернулся на другой бок. Он ничего не увидел вблизи себя, но терпеливо выжидал. Опять послышалось это сопенье или кашель, и между двумя высокими камнями, в каких-нибудь двадцати шагах от себя, он увидел серую голову волка. Острые уши не были так наострены, как у других волков; глаза были тусклы и безжизненны; голова повисла неуклюже и безнадежно. Животное неотступно смотрело на солнце. Оно казалось больным. Когда человек посмотрел на волка—волк опять засопел и закашлял.

Вот это, наконец, реально, подумал человек и перевернулся на другой бок, чтобы увидеть в реальности ту часть мира, которую прежде мешала видеть галлюцинация. Но море все еще

сверкало в отражении, и корабль был ясно виден. Не есть ли и это действительность, в конце концов? Человек закрыл глаза и долго думал. И он вспомнил. Он двигался на северо-восток, все удаляясь от реки Диз; он двигался по направлению к долине реки Коппермайн. Эта широкая и тихходная река и есть Коппермайн. Это блестящее море—Ледовитый океан. Этот корабль—китоловное судно, направляющееся на восток, далеко на восток, из устья Мэкензи, и сейчас корабль стоит на якоре в бухте Коронации. Вспомнил: когда-то давно он видел карту Гудсоновской Компании. Теперь все было ясно и понятно.

Он приподнялся и решил заняться тем, что особенно настоятельно требовало внимания. Все сделанные из одеял бинты были изношены в лохмотья; ноги представляли собой бесформенные куски мяса. Последнее одеяло уже никуда не годилось. Ружье и нож были потеряны. Потеряна была шляпа и, стало быть, пропали спрятанные там спички; но за пазухой, в табакерке, завернутой в вошеную бумагу, уцелела другая пачка спичек; эти спички даже не отсырели. Он посмотрел на часы. Было одиннадцать; часы шли. Очевидно, он заводил их.

Он был спокоен и в полном сознании. Слабость была большая, но ничего не болело. Голод тоже не давал себя знать. Мечты о еде—

не доставляли уже прежнего удовольствия. Вообще, все, что он делал, теперь диктовалось лишь рассудком. Он оторвал от брюк куски материи, начиная от колен до низу, и перевязал себе израненные ноги. Как-то ему удалось еще сохранить свой оловянный котелок. Необходимо выпить горячей воды, прежде чем пуститься в новое ужасное путешествие—к кораблю.

Человек двигался медленно. Он качался как паралитик. Когда он нагнулся, чтоб собрать сухой мох, то оказалось, что он потом не в состоянии подняться. Раз, другой он попытался подняться и, в конце концов, должен был удовлетвориться тем, что пополз на четвереньках, на руках и коленях. Он прополз близко около больного волка. Животное неохотно отошло в сторону, облизываясь языком, который вряд ли способен был действовать. Человек заметил, что язык у волка не был обычного красного цвета. Язык был желто-коричневый и казался покрытым нездоровой полусухой слизью.

Выпив полкружки горячей воды, человек почувствовал себя в состоянии держаться на ногах и даже идти, хотя и не лучше, чем мог бы идти умирающий. Каждую минуту он вынужден был останавливаться, чтоб отдохнуть. Его шаги были слабы и неуверенны, как слабы и неуверенны были шаги волка, который брел следом за ним; и в эту ночь, когда блеск моря утонул

во мраке, человек знал, что приблизился к морю не более, чем на четыре мили.

Всю ночь он слышал кашель больного волка и время от времени — бляенье молодых карибу. Кругом была жизнь, но это была сильная жизнь, здоровая и жизнеспособная, и человек знал, что больной волк неотступно идет за больным человеком в надежде, что человек умрет раньше.

Утром открыл глаза и увидел, что зверь смотрит на него хищным голодным взглядом. Волк стоял с'ежившись, засунув хвост между ног, как несчастная побитая собака. Он дрожал от утреннего холодного ветра и робко завизжал, когда человек произнес — вернее, тихо прошептал — несколько слов.

Солнце ярко сияло; все утро человек, спотыкаясь и падая, шел по направлению к кораблю на море. Погода была чудесная. Стояло короткое индейское лето; в больших широтах оно может продлиться неделю. Завтра или в один из ближайших дней оно может исчезнуть.

После обеда человек набрел на след. Это был след другого человека, который не шел, а полз на четвереньках. Путник подумал, что это, пожалуй, след Билля, но подумал равнодушно, без всякого интереса. Любопытства не было никакого. Всякая способность воспринимать впечатления и всякая чувствительность исчезли.

Он не ощущал больше боли. Желудок и нервы находились в каком-то дремотном состоянии. Однако, искра жизни еще сохранилась в нем, и она-то гнала его вперед. Он был очень слаб, но что-то в нем противилось смерти. Вот это что-то, противившееся смерти, и заставляло его сейчас есть водянистые ягоды и миноги, пить горячую воду и зорко следить за больным волком. Путник шел по следу того человека, который прополз на четвереньках, и — дошел до конца следа: до свежее обглоданных костей, вокруг которых на влажном мху отпечатались ступни волчьих ног. Он увидел плоский лосиный мешочек, похожий на его собственный: мешочек был изорван острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его вес был очень тяжел для его слабых пальцев. Билль берег свой мешочек до конца. Ха! Ха! Можно посмеяться над Биллем. Он переживет Билля и снесет его золото на корабль в блестящее море... Смех человека был хриплый и страшный, точно карканье вороны; больной волк присоединился, подняв жалобный вой. Человек сразу перестал смеяться. Как мог он смеяться над Биллем, если это был Билль, если эти кости так чисто обглоданные, действительно, кости Билля.

Человек отвернулся. Пусть так: Билль бежал от него; но он не возьмет золота, и не будет сосать костей Билля. «Билль, конечно, сделал

бы это, если бы дело обернулось иначе», — размышлял человек, ковыляя дальше.

Он подошел к луже. Нагнувшись над ней, чтоб поискать миног, он вдруг откинул голову назад, как ужаленный. Он увидел отражение своего лица в воде. Так страшно было это лицо, что долго спавшая чувствительность пробудилась: человек был прямо потрясен. В луже виднелось штуки три миног, но лужа была слишком велика, чтоб ее можно было вычерпать. После нескольких безрезультатных попыток поймать миноги оловянным котелком, человек отказался от этого предприятия. Он был так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. По этой же причине он не решился спуститься по реке верхом на каком-нибудь бревне, хотя тут, у песчаного берега, было много прибитых течением бревен.

В этот день он уменьшил расстояние между собой и судном на три мили; в последующий день — на две, потому что он полз теперь, как полз Билль. К концу пятого дня судно находилось в расстоянии семи миль от человека, но он не мог делать даже одну милю в день. Индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, терял сознание и снова полз, и больной волк неотступно кашлял и сопел сзади. Колени превратились в куски окровавленного мяса; ступни — тоже, хотя он и перевязывал их

полосками от рубашки. Человек оставлял за собой красный след на мху и на камнях. Однажды, оглянувшись назад, он увидел, что волк жадно лижет его кровавые следы, и остро почувствовал, каков может быть его конец, если только — если только он сам не одолеет волка. И вот, началась свирепая трагедия борьбы за жизнь: больной человек полз на четвереньках, больной волк ковылял сзади, и оба эти существа, влачившие по пустыне свои полуживые скелеты — охотились друг за другом.

Будь это здоровый волк, это бы еще куда ни шло, но стать пищей для этого отвратительного больного животного — прямо ужасно. Человек упал духом. Его мысль опять начала блуждать, его стали преследовать галлюцинации и светлые промежутки становились все реже и короче.

Однажды он был разбужен визгом, раздавшимся над самым его ухом. Волк, хромая, стаянул назад, потерял равновесие и упал от слабости. Это было смешно, но человека это не рассмешило. Он даже не был испуган. Он был слишком измучен, чтобы пугаться. Но сознание его в эту минуту работало очень ясно, он лежал и размышлял. Судно находилось на расстоянии не более четырех миль. Когда туманная завеса спадала с его глаз, он ясно видел на судне всякую мелочь, видел белый парус на маленькой лодке, перерезавшей волны сверкающего моря.

Но он никогда не проползет эти четыре мили... Он знал это и принимал это очень хладнокровно. Он знал, что он не проползет и полмили. И тем не менее он хотел жить. Было бы бессмысленно, если бы он умер после всего, что пережил. Судьба хотела от него уж слишком много. И умирая, он отказывался умереть. Может быть, это было безумие, но в лапах Смерти—он отвергал смерть и отказывался умереть.

Он закрыл глаза и с величайшей осторожностью собрал все свои силы. Он заставил себя справиться с набегавшей слабостью, которая точно поднимающийся прилив заливала все клеточки его тела. Она была точно море, эта смертельная слабость, она все поднималась и поднималась и затемняла его сознание пядь за пядью. Временами он весь погружался в забытие, плыл в нем колеблющимися толчками, и затем, по какой-то странной алхимии *) души, отыскивал новый запас воли и выныривал более сильным.

Без движения лежал он на спине и слышал, как медленно подкрадывался волк все ближе, ощущал на себе тяжелое дыхание больного волка. Волк подтащился ближе, еще ближе; это

*) Алхимия—средневековая химия, связанная с разными заклинаниями и обрядами; алхимики верили в возможность отыскать философский камень, превращающий простые металлы в золото.

длилось бесконечно, а человек все не двигался. Голова волка нагнулась уже над самым ухом человека. Широковатый, сухой язык поцарапал, точно наждаком, его щеку. Он протянул руку, а может быть, он только хотел протянуть ее. Пальцы были искривлены точно когти, но они схватили только воздух. Быстрота и уверенность требовали силы, а у человека не было силы.

Терпение волка было ужасно. Терпение человека было не менее ужасно. Полдня он лежал неподвижно, борясь с бессознательностью и следя за тем, кто думал насытиться им и кем он, в свою очередь, мечтал насытить свой голод. Временами медленные волны заливали его, и он видел длинные сны; но неизменно, и на яву и во сне, он чувствовал свистящее дыхание волка и жестокое царапанье волчьего языка.

Сейчас человек не слышал этого дыханья; он медленно вернулся к действительности от какого-то сна: теперь волк лизал ему руку. Человек насторожился. Волчьи клыки сперва нажали слегка; давление все возрастало; волк напрягал последние силы, чтобы влиться зубами в пищу, которую он ждал так долго. Но человек тоже ждал долго, и его израненная рука схватилась за челюсть волка. Медленно—ибо волк боролся слабо и рука человека сжимала слабо,—медленно доползла другая рука и схватила волка за горло. Пять минут спустя вся тяжесть челове-

ского тела давила на волка. Руки не обладали достаточной силой, чтобы задушить волка, но лицо человека плотно прижималось к волчьему горлу, и рот человека был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал теплую струю у себя в горле. Это было не особенно приятно. Казалось, расплавленный свинец вливается в желудок, и вливается по воле самого же человека. Затем человек перевернулся на спину и заснул.

На китоловном судне «Бедфорд» находилось несколько членов ученой экспедиции. С палубы они заметили странный предмет на берегу. Предмет двигался вниз по песчаному откосу по направлению к воде. Издали они не в состоянии были классифицировать *) этот предмет и потому, как люди науки, сели в лодку, висевшую сбоку королевского судна, и под'ехали к морскому берегу. И они увидели нечто живое, но это нечто с трудом можно было назвать человеком. Оно было слепо, бессознательно. Оно ползло по земле, подобно какому-то чудовищному червю. Его усилия большей частью оставались безрезультатными, но они были настойчивы, и извиваясь и корчась, существо это все же подвигалось вперед, хотя не больше чем на несколько шагов в час.

Три недели спустя человек лежал в каюте ки-

*) Определить принадлежность к какому-нибудь виду или разряду.

толовного судна «Бедфорд»; по впалым, щекам у него текли слезы, и он рассказывал о своих приключениях. Он бормотал также что-то несвязное о своей матери, о солнечной Южной Калифорнии *) и о хижине среди померанцевых рош и цветов.

Прошло немного дней после того, и он уже сидел за столом с учеными и командой судна. Он таращил глаза на такое обилие пищи, он со страхом провожал глазами каждый кусок, падавший в чужой рот. Проглатывали кусок—и в глазах человека появлялось выражение глубокого сожаления. Он был почти здоров, но во время еды—он ненавидел этих людей. Его преследовал страх, что пищи не хватит. Он расспрашивал на кухне юнгу, капитана—о запасах пищи. Его успокаивали бесконечное число раз, но он не верил, и подкрадывался сам к кладовым, чтобы убедиться собственными глазами.

Затем человек замтно начал толстеть. Он становился толще с каждым днем. Ученые люди качали головами и сочиняли теории. Они ограничили человека в пище, но он все расширялся в талии, он чудовищно разбухал.

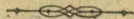
Матросы смеялись. Они знали. И когда ученые начали следить за человеком, они тоже узнали. Они увидели, как после завтрака он прокра-

*) Область в южной части Северной Америки.

дывается к матросу, как нищий, с протянутой рукой, матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Он схватывает этот кусок с жадностью, смотрит на него, как скупец смотрит на золото и прячет за пазуху. Туда же попадали подавания и других матросов. Матросы скалили зубы.

Ученые люди были деликатны. Они оставили человека в покое. Но тайком осмотрели его каюту. Каюта была вся полна сухарями; матрац был набит сухарями; в каждой щели, в каждом закоулке были сухари. И, однако, человек был здоров. Он только заботился о том, чтобы впредь ему не пришлось еще раз голодать. Вот и все. Он вылечится от этого, сказали ученые люди; и он, действительно, вылечился, прежде чем «Бедфорд» бросил свой якорь в бухте Сан-Франциско *).

Перевод Е. Бройдо.



*) Один из крупнейших городов Америки; находится в штате Калифорния.

НЕЖДАНОЕ.

Не трудно видеть то, что очевидно, и справиться с тем, чего ждешь. Жизнь человека в наше время тяготеет скорее к статике, чем к динамике *), и это явление все усиливается с развитием цивилизации; все чаще у нас перед глазами очевидно, все реже случается что-нибудь неожиданное. Но уж если неожиданное действительно случится, и если это что-нибудь серьезное—то неприкосновенные погибают. Они не видят того, что не очевидно, они неспособны преодолеть неожиданное, они не в состоянии исправить ладью своей налаженной жизни в другом незнакомом им русло. Словом, когда жизнь выбивает их из обычной колеи, они умирают.

Но есть другие люди,—живучие, приспособленные, стоящие выше законов очевидного и ожидаемого, люди справляющиеся со всякой новой обстановкой, предуготовленной им судьбой. Таким именно человеком была Эдит Уиттсей. Она

*) Вся наука механики разделяется на два главных отдела: статика и динамика. Статика—учение о телах, находящихся в равновесии, в покое; динамика—учение о телах, находящихся в состоянии движения.

родилась в сельском округе Англии, где жизнь протекает по искони установленным обычаям, и уж если там случается что-нибудь неожиданное, то оно производит впечатление прямо чего-то безнравственного. Еще очень молодой—Эдит поступила в услужение и, согласно установленным обычаям, в свое время сделалась горничной.

Влияние цивилизации направлено к тому, чтобы подчинить жизнь человеческую действию закона и сделать ее регулярно-машинной. Все, что этому противодействует, устраняется, все неизбежное,—предусматривается. Дождь нас не мочит, холод не морозит; сама смерть уже не подкрадывается к нам страшной неожиданной гостьей, она становится обычным зрелищем, где все заранее приготовлено, и гроб относят по предопределенному пути к фамильному склепу, где петли не ржавеют и воздух чист от пыли.

Такова была обстановка, которая окружала Эдит Уитлсэй. Все было заранее предусмотрено. Ничего необыкновенного не случалось. Вряд ли можно даже считать событием то, что на двадцать пятом году жизни, ей пришлось сопровождать свою госпожу в путешествие по Соединенным Штатам. Колея жизни Эдит в этом случае лишь изменила направление. Но это была обычная колея, и притом хорошо налаженная. Она перекинулась спокойным мостом через Атлантический океан; корабль перестал быть

кораблем среди бушующего моря, и превратился в огромную плавучую гостиницу со множеством коридоров, и эта гостиница понеслась быстро и плавно, разбивая волны своим колоссальным телом и превращая море в тихий мельничный пруд, на котором нет места неожиданностям. А по ту сторону океана та же колея шла уже по суше,—удобная, приличная колея с гостиницами на каждой остановке и с гостиницами на колесах между остановками.

В Чикаго *), где хозяйка Эдит изучала одну сторону социальной жизни, сама Эдит Уитлсэй видела другую сторону ее. И когда Эдит перестала быть горничной и сделалась Эдит Нельсон, она обнаружила, хотя, может быть, и в слабой степени, свою способность бороться с неожиданным и побеждать неожиданное. Ганс Нельсон иммигрант, швед по рождению и плотник по профессии, обладал той тевтонской непоседливостью, которая гонит эту расу вечно на запад в поисках великих приключений. Это был простоватый здоровенный мужчина; в нем слабое воображение сочеталось с громадной инициативой; верность и любовь в нем были так же сильны, как и его могучее тело.

— Когда мне удастся хорошо заработать и

*) Город в Сев. Америке, в Штате Иллинойс; второй по величине город Америки после Нью-Йорка.

накопить денег, я отправлюсь в Колорадо*), — сказал он Эдит на другой же день после свадьбы. Год спустя, они были в Колорадо, где Ганс Нельсон впервые стал золотоискателем и заразился золотоискательской лихорадкой. Она перебрала его через Дакоты, Айдахо и восточный Орегон в горы Британской Колумбии **). В изысканиях и в пути Эдит Нельсон всегда была вместе с мужем, деля с ним все труды и невзгоды. Мелкий шаг женщины, проводящей всю жизнь в комнатах, сменился у нее крупным шагом обитательницы гор. Она научилась открыто смотреть в глаза опасности и сбросила с себя навсегда тот панический страх, который взращен невежеством, тот страх, который, точно безумием, охватывает горожан и превращает их в какой-то табун лошадей, которые, в оцепенении и ужасе, ждут своей судьбы, вместо того, чтобы схватиться с нею, или дику несутся вперед, устилая путь своими трупами.

Эдит Нельсон встречала неожиданное на каждом повороте своего пути, и ее глаза так приспособились, что она видела в окружающем не очевидное, а только скрытое. Эта женщина, не знавшая раньше кухни, научилась печь хлеб без помощи хмеля, дрожжей или соды, а просто на сковороде, на костре. Случалось — нет ни ложки

*) Область в зап. части Сев. Америки.

**) Дакоты, Орегон, Колумбия — области в Сев. Америке.

муки, съеден последний кусочек ветчины, она и тут не терялась и умела изготавить из моккасинов *) и тонких ремней упряжки блюдо, которое временно поддерживало в человеке дыхание жизни и позволяло ему идти дальше. Она научилась навьючивать лошадь не хуже мужчины, — задача, совершенно непосильная для горожанина, и она знала, как лучше прикрепить тот или иной груз. Она умела также развести огонь из сырых дров под проливным дождем и не дать ему угаснуть. Словом, она умела справляться с неожиданным во всех его проявлениях. Но великое неожиданное еще поджидало ее впереди и поставило ее перед жестоким испытанием.

Золотоискательский поток устремился на север, в Аляску, и Ганс Нельсон с женой были подхвачены им и занесены в Клондайк **). Конеч 1897 года застал их в Дайи, но у них не было средств на снаряжение, чтобы переправиться через Чилкутский проход и пробраться в Доусон. Поэтому, Ганс Нельсон занимался в течение всей зимы своим ремеслом и помогал строить скаочно быстро выросший город Скагвэй ***),

*) Моккасины — обувь из оленьей кожи.

**) Клондайк — приток реки Юкон в Сев. Америке, на границе с Аляской. В местностях возле Клондайка — богатые золотые россыпи.

***) Дайи, Доусон, Скагвэй — города в Клондайке.

служивший местом снаряжения для золотоискателей.

Нельсон находился в центре всех слухов, и всю зиму вся Аляска звала его к себе тысячько голосов. Громче всего звучал голос Латуйской бухты, и лето 1898 года застало Нельсона и его жену медленно подвигающимися вдоль извилистого морского берега в семнадцатифуговых Сивашских *) лодках. С ними были индейцы и еще трое белых. Индейцы высадили их вместе с их припасами на берег в уединенном маленьком заливе, в ста, приблизительно, милях за Латуйской бухтой, и вернулись обратно, в Скагвэй; но трое белых остались с Нельсоном и его женой. Эти пятеро составляли изыскательскую партию. Каждый вложил одинаковую долю капитала в снаряжение, и прибыль должна была делиться поровну. Обязанностью Эдит Нельсон было готовить на всех пищу, и за это она получала равную с мужчинами долю прибыли.

Первым делом они нарубили сосен и выстроили хижину в три комнаты. Все домашние работы лежали на Эдит Нельсон. Обязанностью мужчин было искать золото, что они и исполняли, а также находить его,—что они тоже делали. Добыча была не из крупных; многочасовой тяжелый труд давал каждому работнику пятнадцать-

*) Сиваши — индейское племя.

двадцать долларов *) в день. Короткое аляскинское лето затянулось дольше обыкновенного, и они воспользовались этим, отложив свое возвращение в Скагвэй, до последней возможности. И момент был упущен. Были сделаны приготовления, чтобы присоединиться к нескольким десяткам местных индейцев в их осенней торговой поездке вниз по реке. Сиваши ждали до одиннадцати часов и отчалили. Для партии не оставалось другого выхода, как выждать случайной переправы. А пока что, был расчищен участок и заготовлены дрова.

Индейское лето замирало в дремоте, и вдруг, со свирепостью зверя, обрушилась зима. Она пришла в темную ночь, и когда однажды утром золотоискатели проснулись,—выл ветер, крутила метель и вода замерзла. Буря следовала за бурей, а в промежутках царил безмолвие, прерываемое лишь ударами волн о пустынный берег, где соленые брызги обложили бухту белой морозной каймой.

Все шло хорошо в маленьком домике. Золотого песка у его обитателей было на сумму около восьми тысяч долларов, и у них не было причины быть недовольными. Мужчины сшили зимнюю одежду, охотой добывали свежее мясо и в длинные вечера играли без конца в вист и

*) Доллар — американская монета, стоимостью около двух рублей (до войны).

в петро *). Так как рудокопные работы кончились, то Эдит Нельсон передала мужчинам работу по топке печей и мытью посуды, а сама принялась за штопку их чулок и починку платья.

Не было ни ворчанья, ни перекоров, ни мелких ссор в домике, и они часто поздравляли друг друга с общим благополучием их небольшой компании. Ганс Нельсон был простоват и добродушен, и Эдит уже давно пользовалась его безграничным восхищением за умение обходиться с людьми. Гаркей, длинный худой техасец, был необычайно любезен в общении, хотя и не чужд меланхолии; однако, пока не затрагивалась его теория о том, что золото растет, он был приятен в обществе. Четвертый член партии, Майкель Деннин, вносил в хижину дань своего ирландского остроумия и веселое настроение. Это был широкоплечий здоровый мужчина, склонный к внезапным вспышкам гнева из-за пустяков и к припадкам веселого настроения в случае крупных событий. Пятый и последний член партии, Датчи, был излюбленной мишенью всеобщих шуток. Он даже не прочь был сделать себя предметом насмешек, лишь бы вызвать веселье в доме. Казалось, он видел свое жизненное призвание в том, чтобы возбуждать смех. Ни одна серьезная ссора ни разу не омрачала ясных

*) Вист и „петро“ — парточные игры.

отношений маленького общества; и теперь, когда на долю каждого приходилось шестнадцать сотен долларов за труд короткого лета, в домике царствовал дух довольства и благосостояния.

Но тут-то и случилось неожиданное. Они только что сели за стол завтракать. Хотя было уже восемь часов (поздние завтраки, естественно, начались по окончании золотоискательских работ), свеча в горлышке бутылки освещала накрытый стол. Эдит и Ганс сидели на двух противоположных концах стола. Спиной к дверям сидели Гаркей и Датчи. Место напротив них не было занято. Деннин еще не явился.

Ганс Нельсон посмотрел на пустующий стул, тихо покачал головой и, с тяжеловесной попыткой состричь, сказал:

— Он всегда первый за столом. Очень странно. Уж не заболел ли он?

— Где Майкель? — спросила Эдит.

— Он ушел несколько раньше нашего и ушел куда-то, — ответил Гаркей.

Лицо Датчи осветилось коварной улыбкой. Казалось, он знал, где Деннин, и принял очень таинственный вид, когда другие начали требовать от него объяснений. Эдит, заглянув осторожно в спальню мужчин, вернулась к столу. Ганс вопросительно посмотрел на нее, она покачала головой.

— Он никогда не опаздывал к столу, — заметила она.

— Не понимаю, — сказал Ганс. — У него всегда лошадиный аппетит.

— Это очень нехорошо, — произнес Датчи, мрачно наклонив голову.

Все начали острить по поводу отсутствия товарища.

— Какая жалость! — громко воскликнул Датчи.

— Почему? — спросили все хором.

— Бедный Майкель! — был грустный ответ.

— Но что же случилось с Майкедем? — спросил Гаркей.

— Он уже не голоден больше, — жалобно произнес Датчи. — Он потерял аппетит. Его не манит пища.

— Что-то непохоже. Он всегда весь уходит в еду, — заметил Гаркей.

— Он делает это из вежливости к миссис Нельсон, — живо возразил Датчи. — Я-то знаю в чем дело, и дело неладно. Почему его здесь нет? Потому что он ушел. А почему он ушел? Чтоб нагулять себе аппетит. Как же он нагуливает аппетит? Он бегаёт босиком по снегу. Ах, разве я не знаю! Именно так богачи нагуливают себе аппетит, когда он у них пропадает. У Майкеля шестнадцать сотен долларов. Он богач. У него нет аппетита. Вот он и охотится за ним. Откройте

дверь и вы увидите его босого на снегу. Аппетита то вы не увидите, в этом все его горе. Когда он найдет аппетит, он схватит его и примется за завтракать.

Взрыв смеха был ответом на болтовню Датчи. Только что замерли последние отзвуки смеха, как дверь открылась и вошел Деннин. Все обернулись. В руках он держал охотничье ружье. В тот момент, когда все обернулись, он вскинул ружье на плечо и выстрелил два раза. При первом выстреле Датчи упал на стол, опрокинув чашку с кофе; рыжий клок его волос опустился в миску с похлебкой. Лбом он перевернул миску и наклонил ее под углом в сорок пять градусов.

Гаркей вскочил было на ноги, но второй выстрел поверг его лицом на землю, и крик «О, Боже»... заклокотал и быстро замер у Гаркея в горле.

Это и было неожиданное. Ганс и Эдит опешили. Они остались сидеть за столом; все мускулы у них странно напрягались; как зачарованные, они неподвижно глядели на убийцу. Они смутно видели его сквозь облако порохового дыма, и в наступившей тишине только и было слышно: из опрокинутой чашки Датчи капал на пол кофе. Деннин щелкнул затвором ружья и выбросил пустые гильзы. Держа ружье в одной

руке, он другой рукой доставал из сумки новые патроны.

Он уже вкладывал патроны в ружье, когда Эдит Нельсон очнулась от оцепенения. Было ясно, что он намеревался убить также ее и Ганса. В течение каких-нибудь трех секунд она была ошеломлена и парализована страшной и непонятной формой, в которой неожиданное проявило свой лик. Затем она сразу встрепенулась, выросла вровень с неожиданным и схватилась с ним в подлинном смысле слова. Как кошка, бросилась она на убийцу и ухватила обеими руками за ворот его рубашки. Под тяжестью ее тела Деннин покачивался и сделал несколько шагов назад. Он старался спихнуть ее с себя, не выпуская ружья из рук. Это было невозможно, ибо ее цепкое тело было страшно гибко. Она так налегала на Деннина, что чуть не повалила его на пол. Он собрал все свои силы и начал быстро вертеться во все стороны. Но Эдит вцепилась ему в воротник, вертелась вместе с Деннином, наконец, ноги ее оторвались от земли, и она повисла всем телом у него на шее. Наткнувшись на стул, оба грохнулись на пол в дикой борьбе, заняв своими телами половину всей комнаты.

Ганс Нельсон осознал неожиданное на полсекунды позже, чем его жена. Его нервные и умственные процессы протекали медленнее, чем

у нее. Его организм был крупнее, и ему потребовалось на полсекунды больше, чтобы понять, решить и начать действовать. Эдит уже была около Деннина и вцепилась в его глотку, когда Нельсон вскочил на ноги. Но ему было чуждо самообладание Эдит. Им овладело слепое бешенство, дикая ярость. Вскочив на ноги, он испустил какой-то звук, — наполовину рычание, наполовину лай. Борьба двух тел уже началась, и издавая этот не то рычащий, не то лающий звук, Нельсон следил за борьбой, пока люди не упали на пол.

Ганс бросился на распростертого убийцу, безумно потрясая своими кулаками. Удары кулаков падали точно удары тяжеловесного молота, и когда Эдит почувствовала, что тело Деннина ослабело, она разжала свои пальцы и слегка отодвинулась в сторону. Она лежала на полу, тяжело дыша, и наблюдала. Яростные удары продолжали равномерно падать. Деннин, повидимому, не чувствовал их. Он не двигался. Тут Эдит показалось, что Деннин потерял сознание. Она крикнула Гансу, чтобы он остановился. Крикнула раз и другой. Но он не обращал на нее внимания. Тогда она схватила его за руку, — это мешало ему, но не могло остановить.

Бессознательный импульс *) руководил ее

*) Толчок, побуждение.

действиями. Не было в ней ни жалости, ни повинования религиозной заповеди — «Не убий». Скорее чувство законности, этическое сознание ее расы и обстановка ее прежней жизни толкнули Эдит на то, чтобы своим телом защитить беспомощного убийцу. И только когда Ганс убедился, что он бьет свою жену, он перестал сыпать удары. Подобно разъяренной, но послушной собаке, которую прогоняет хозяин, Ганс Нельсон позволил жене отодвинуть себя от своей жертвы. Аналогия *) шла еще дальше. Глубоко в горле у него, совершенно как у зверя, ярость продолжала kloкочать в виде каких-то рычащих звуков, и в течение некоторого времени он все порывался сделать прыжок назад к своей жертве, и только лежавшее на пути тело женщины мешало ему.

А Эдит все продолжала отодвигать его дальше. Она еще никогда не видала его таким, и он пугал ее больше, чем Деннин в разгаре схватки. Ей не хотелось верить, что этот рычащий зверь — ее Ганс, и, потрясенная, она вдруг оцепенела от инстинктивного страха: а вдруг он вцепится ей в руку зубами, подобно дикому зверю? Несколько секунд, опасаясь задеть жену, но все еще движимый желанием вновь напасть на врага, Ганс не мог стоять на месте: то шагнет

*) Сравнение.

вперед, то опять отступит назад. Но Эдит решительно двигалась вместе с ним, пока первые проблески сознания, наконец, не вернулись к нему.

Теперь оба стояли на ногах. Ганс, шатаясь, добрался до стены и прислонился к ней; лицо его еще ходило ходуном, в горле у него все еще слышались глубокие kloкочущие звуки, которые постепенно ослабевали и, наконец, совсем затихли. Наступила реакция. Эдит стояла посреди комнаты, ломая руки; она тяжело дышала, почти задыхалась; все тело ее дрожало, как в лихорадке.

Ганс не смотрел ни на что, но глаза Эдит дико блуждали по комнате, останавливаясь на каждой мелочи. Деннин лежал неподвижно. Рядом валялось кресло, перевернутое в диком вихре схватки. Один конец ружья находился под убийцей, и затвор все еще был открыт. Под правой рукой у него было два патрона, которые он не успел вложить в ружье и держал зажатými в руке, пока не потерял сознания. Гаркей ничком лежал на полу, на том самом месте, где упал; Датчи попрежнему опирался на стол, желтый клок его волос торчал из миски, и миска все так же оставалась наклоненной под углом в сорок пять градусов. Эта наклоненная миска зачаровала Эдит. Почему она не падает? Это смешно. Казалось неестественным, что супная миска в

наклонном положении держалась на краю стола, в тот самый момент, когда убивают человека.

Эдит оглянулась на Деннина, но взор ее вновь устремился на миску. Это ужасно смешно. Она почувствовала истерический приступ смеха. Но вслед затем она отметила в сознании своем необычайную тишину в комнате и забыла про миску; нестерпимо хотелось, чтобы хоть что-нибудь случилось. Монотонное капанье кофе со стола на пол лишь еще более подчеркивало мертвую тишину. Почему Ганс ничего не делает? Ничего не говорит? Она взглянула на него и хотела сказать что-то, но тут обнаружилось, что язык не слушается ее. В горле ощущалась какая-то особенная боль, во рту пересохло. Она могла только глядеть на Ганса, который, в свою очередь, глядел на нее.

Внезапно, тишина была нарушена резкими металлическим звуком. Эдит громко вскрикнула и оглянулась назад. Оказывается—миска упала со стола. Ганс походил на человека, который только что проснулся. Звон миски разбудил его к жизни в новом мире. Комната являла собой отражения этого нового мира, в котором отныне им суждено жить и действовать. Старая комната безвозвратно утеряна. Небо теперешней жизни — совершенно новое и чуждое. Нежданное покрыло все вещи своим колдовским покрывалом, и видоизменились все перспективы,

опрокинулись все ценности, и в вихре переменялось реальное с нереальным.

— О, Боже, Ганс!—были первые слова Эдит.

Он ничего не ответил, но уставился на нее с ужасом в глазах. Его взор тихо блуждал по комнате, впервые улавливая все детали. Затем он схватил свою шапку и направился к двери.

— Куда ты идешь?—спросила Эдит в смертельном страхе.

Его рука взялась уже за скобку двери, и он полуобернулся, чтобы ответить:—Рыть могилы.

— Не оставяй меня, Ганс...—она обвела глазами комнату...—с ними.

— Могилы нужно вырыть сейчас же,—сказал он.

— Но ты еще не знаешь, сколько их надо?—с отчаянием возразила она. Она заметила его нерешительность и прибавила:—я тоже пойду с тобой и помогу тебе.

Ганс вернулся к столу и машинально снял нагар со свечи. Затем они принялись осматривать лежащих. Гаркей и Датчи были мертвы, мертвы бесповоротно: выстрелы в них были произведены в упор. Ганс отказался подойти к Деннину, и Эдит старалась сама справиться с задачей осмотра.

— Он не умер!—крикнула она Гансу.

Ганс подошел вплотную и посмотрел сверху вниз на убийцу.

— Что ты говоришь?—спросила Эдит, услышав нечленораздельные звуки в горле своего мужа.

— Я говорю: стыдно и позорно, что он еще жив!—был ответ.

Эдит наклонилась над телом.

— Прочь!—крикнул Ганс резким странным голосом.

Она взглянула на Ганса—и ее внезапно охватила тревога. Ганс вытащил ружье из-под Деннина и вложил патрон.

— Что ты хочешь делать? — спросила она, выпрямляясь.

Ганс не отвечал и вскинул ружье на плечо. Она схватила дуло руками и отвела его в сторону.

— Прочь!—крикнул он грубо.

Он старался высвободить ружье из ее рук, но она прижалась к мужу и повисла на нем.

— Ганс, Ганс, помнись!—молила она.— Не сходи с ума.

— Он убил Гаркея и Датчи,—был ответ,—и я убью его.

— Но это дурно,—говорила она,—это против закона.

Он усмехнулся: ссылаться на законы в таком месте! Он твердил упорно и бесстрастно:—Он убил Гаркея и Датчи.

Эдит долго спорила с ним, но спор был одно-

сторонний,—Ганс твердил одно и то же: «Он убил Гаркея и Датчи». Эдит, однако, не могла освободиться от понятий своего детства и от того, что было у нее в крови. Это было наследственное чувство законности, и правда олицетворялась для нее в законе. Она не видела другого правильного пути. То, что Ганс хотел взять правосудие в собственные руки, было не более справедливо, чем убийства, совершенные Деннином. «Две неправды не дают одной правды, утверждала она, и существует только один путь наказания Деннина,—путь закона, установленного обществом». В конце концов, Ганс уступил ей.

— Хорошо,—сказал он.—Пусть будет по-твоему. А завтра или послезавтра он убьет меня и тебя.

Она покачала головой и протянула руку за ружьем. Ганс, было, поднял ружье и протянул ей, но вдруг остановился.

— Позволь мне лучше убить его,—попросил он еще раз.

Она опять покачала головой, и он уже хотел передать ей ружье, когда дверь открылась и, не постучавшись, в комнату вошел индеец. Вместе с ним в избу ворвался снежный вихрь. Они обернулись к нему лицом,—Ганс все еще с ружьем в руках. Вошедший не обнаружил ни малейшего волнения. Одним беглым взглядом он охватил мертвых и раненого. На лице его не отразилось

ни удивления, ни даже любопытства. Гаркей лежал у ног его, но он, казалось, даже не заметил труп. Как-будто тела Гаркей не существовало вовсе.

— Сильный ветер,—произнес индеец, в виде приветствия. — Все в порядке? Хорошо живете?

Ганс стоял с ружьем в руке и был уверен, что индеец приписывает ему убийство. Он восторженно посмотрел на свою жену.

— Здравствуй, Негук,—произнесла она с усилием.—Нет, не совсем хорошо. Большое горе.

— До свиданья, я только на минутку, я то-роплюсь,—сказал индеец, и без всякой поспешности, осторожно обходя лужу крови на полу, открыл дверь и вышел из комнаты.

Мужчина и женщина переглянулись.

— Он думает, что мы это сделали,—прошептал Ганс,—что я это сделал.

Эдит с минуту молчала. Затем, она произнесла коротко, деловитым тоном:

— Мало ли что он думает. Сейчас это не важно. Сейчас нам надо вырыть две могилы. Но прежде всего мы должны связать Деннина, чтобы он не мог ударить.

Ганс отказался прикоснуться к Деннину, и Эдит сама связала его крепко, по рукам и ногам. Затем, оба они с Гансом вышли из комнаты и пошли по снегу. Почва была мерзлая и не поддавалась ударам кирки. Они нарубили дров,

стмели снег, и разложили костер. Спустя час после того, как развели огонь, оттаяло несколько дюймов земли. Оттаявший слой сняли и развели новый костер. Рытье могил подвигалось, таким образом, со скоростью двух или трех дюймов в час.

Это была тяжелая и трудная работа. Падавший снег не давал костру разгореться как следует, а ветер забирался под платья и охлаждал тело. Они мало разговаривали. Ветер заглушал слова. Раздумывая о причинах, которые привели Деннина к убийству, они хранили молчание, подавленные ужасом разыгравшейся трагедии. В час дня, взглянув в направлении дома, Ганс заявил, что хочет есть.

— Нет, не теперь, Ганс,—взмолилась Эдит.— Я не пойду сейчас одна в этот дом готовить обед.

В два часа Ганс вызвался пойти вместе с нею; но она уговорила его кончить работу, и в четыре часа могилы были вырыты. Они были неглубокие, не более двух футов глубины, но этого было достаточно. Ганс принес сани, и оба покойника были отвезены сквозь тьму и снежную бурю к своей мерзлой могиле. Погребальная процессия не представляла особенно блестящего зрелища. Сани глубоко увязали в рыхлом снегу и двигались с трудом. Мужчина и женщина ничего не ели со вчерашнего дня и ослабели от

голода и усталости. У них не было силы противостоять ветру, и временами порывы его сбивали их с ног. Несколько раз сани опрокидывались, и людям приходилось сызнова нагружать их печальным грузом. Последние сто шагов до могилы тропинка поднималась на крутой холм, и они одолели этот под'ем лишь на четвереньках, цепляясь за снег руками и ногами, подобно ездовым собакам. Но даже и в таком виде, тяжесть сани дважды стягивала их вниз, они скатывались с холма, живые и мертвые вместе, сани и упряжка в жутком хороводе.

— Завтра я поставлю доски с их именами, — сказал Ганс, когда могилы были засыпаны.

Эдит рыдала. Несколько обрывочных фраз из ее уст, — вот все, что замесило похоронные богослужение, и теперь муж вынужден был почти нести ее на руках до домика.

Деннин пришел в сознание. Он катался по полу в тщетных усилиях освободиться от веревок. Он глядел на Ганса и Эдит сверкающими глазами, но не делал попыток заговорить. Ганс все еще отказывался дотронуться до убийцы и мрачно наблюдал, как Эдит старалась перетащить его через комнату в мужскую спальню. Но как она ни силилась, она не могла поднять его с полу и перенести в соседнюю каморку.

— Лучше позволь мне застрелить его и у

нас не будет больше хлопот, — в последний раз попросил Ганс.

Эдит покачала головой и продолжала свои усилия. К ее удивлению, тело поднялось легко, и она поняла, что Ганс уступил и помогает ей. После этого началась уборка кухни. Но каждая доска на полу вопила о совершенном преступлении, пока Ганс не соскоблил с них пятна крови и не сжег щепок в печи.

Дни проходили и уходили. Царила ночь, безмолвие нарушалось лишь завыванием снежных бурь, и треском льда на берегу. Ганс беспрестанно выполнял малейшее распоряжение Эдит. Он не проявлял больше никакой инициативы. Она решила участь Деннина по своему, и он предоставил ей довести дело до конца.

Убийца представлял собою вечную угрозу. Каждую минуту он мог освободиться от своих уз, и это заставляло их сторожить его денно и ночно. Муж или жена неизменно сидели около него, с заряженным ружьем в руках. Вначале Эдит установила восьмичасовое дежурство, но напряжение было чересчур велико, и поэтому они начали сменять друг друга каждые четыре часа. Так как дежурства продолжались и по ночам, а спать все-таки надо было, то все время их бодрствования фактически уходило на то, чтобы сторожить Деннина. Они едва успевали при-
выш. 48. дж. лондон.

готовить себе пищу и принести дрова для топки печей.

После несвоевременного посещения Негука, индейцы обходили их хижину. Эдит послала к ним Ганса просить, чтоб они спустили Деннина вниз по берегу на лодке к ближайшему поселку белых или к торговому пункту; но переговоры не привели ни к чему. Тогда Эдит сама отправилась к Негуку. Он был старшиной селения, держался с сознанием своей ответственности и изложил ей свой взгляд на вещи в немногих словах.

— Это беда белых,—изрек он,—а не сивашей. Мой народ будет помогать вам, и тогда это будет уже и беда сивашей. Когда беда белых и беда сивашей сходятся вместе, то получается большая беда, в которой ничего не разберешь и которая не имеет конца. Беда нехорошая вещь. Мой народ не сделал ничего дурного. Зачем он станет вам помогать, чтобы получить беду?

И Эдит Нельсон вернулась ни с чем в проклятый домик с его бесконечными четырехчасовыми сменами. Иногда, когда было ее дежурство и она сидела около узника с заряженным ружьем в руке, глаза ее невольно смыкались, и она начинала дремать. Но тотчас же она быстро вскакивала, сжимая ружье и украдкой оглядывая койку. Это были определенно нервные потрясения, скверно действовавшие на нее. Ее

страх перед этим человеком был так велик, что даже когда она бодрствовала, стоило ему сделать малейшее движение под одеялом, и она невольно вскакивала и крепче сжимала ружье в руке.

Ее ждал нервный надрыв, и она это признавала. Сначала у нее появилось подергивание глазного яблока, так что ей приходилось закрывать глаза от боли. Немного спустя началось непроизвольное нервное движение век. Вдобавок она ни на миг не могла забыть происшедшей трагедии. Ужас того утра, когда неожиданное постучалось в двери ее хижины и вступило в свои права, не покидал ее ни на минуту. В своем ежедневном бодрствовании около узника, она сжимала зубы и напрягала все силы души и тела, чтобы сохранить самообладание.

На Ганса создавшееся положение действовало иначе. Им всецело овладела идея, что он обязан убить Деннина; и когда он отбывал свое дежурство около связанного человека, Эдит не могла освободиться от чувства страха, что Ганс напишет еще одну кровавую страницу в мрачную историю их домика. Он неизменно дико клял Деннина и грубо обращался с ним. Ганс старался скрыть охватившую его кровавую манию *), и часто говаривал своей жене: «Ей, ей, настанет

*) Мания—вид душевной болезни, сопровождающейся неоступной, навязчивой идеей.

время, когда ты сама попросишь меня убить его, и тогда я не захочу его убивать. Это изведет меня». Но не один раз, тайком заглянув в комнату во время дежурства мужа, она видела с какой жгучей, чисто звериной иступленностью смотрели друг на друга оба мужчины; лицо Ганса пылало жаждой убийства, а лицо Деннина выражало дикий испуг затравленного зверя.

— Ганс,—кричала она тогда,—помнись.

И он приходил в себя, встряхивался, смущался, но оставался нераскаянным.

Таким образом, Ганс оказался второй действующей силой в задаче, которую нежданное поставило перед Эдит Нельсон на разрешение. Вначале это был лишь вопрос о том, чтобы правильно поступить по отношению к Деннину, а по мнению Эдит, правильно поступить в данном случае—значило держать Деннина связанным до тех пор, пока представится возможность передать его в руки правосудия. Но теперь явилась забота о Гансе, ибо она видела, что его здоровье и безопасность находятся под угрозой. Не трудно ей было убедиться и в том, что и собственная ее сила и выносливость падают. Она надломилась под невыносимой тяжестью. Ее левая рука начала непроизвольно дергаться. Она пролила суп, когда подносила ложку ко рту, и не чувствовала никакой уверенности, когда приходилось действовать большой рукой. Она со-

ображала, что это своего рода пляска св. Витта, и не знала, до каких пределов может дойти эта болезнь. А что если она свалится с ног? И картина возможного будущего, когда в домике остались бы лишь Деннин и Ганс, наполняла ее сердце новой тревогой.

На четвертый день Деннин начал говорить. Первый вопрос его был:—Что вы хотите сделать со мной?—И этот вопрос он начал повторять изо дня в день, по нескольку раз. И каждый день Эдит отвечала ему, что с ним безусловно будет поступлено по закону. В свою очередь, она также задавала ему ежедневно один и тот же вопрос:—Зачем ты это сделал?—На это он не отвечал никогда. Более того, он встречал этот вопрос со взрывами гнева, приходил в ярость, старался вырваться из связывающих его веревок и угрожал ей всякими казнями после того, как он очутится на свободе, что раньше или позже—он был в том уверен—непременно случится. В такие моменты она, дрожа с головы до ног, больная от напряжения и потрясения, взводила оба курка ружья, готовая застрелить его в тот миг, как он освободился бы от веревок.

Но с течением времени Деннин сделался более оговорчивым. Казалось, он устал от своего неизменно лежачего положения. Он начал просить и умолять, чтобы его развязали. Он давал дикие обещания. Он не сделает им зла. Он сам

спустится вниз по берегу и отдастся в руки правосудия. Он отдаст им свою долю золота. Он уйдет далеко в пустыню и никогда больше не вернется в цивилизованный мир. Он сам лишит себя жизни, если только Эдит освободит его. Его мольбы обычно кончались иступлением, переодетым в припадок. Но она неизменно отрицательно качала головой и отказывала ему в свободе, которой он жаждал так страстно.

Но проходили недели, и он становился еще более сговорчивым. Упадок сил сказывался в нем все сильнее и сильнее.

— Я так устал, так устал,— бормотал он, мотая головой взад и вперед по подушке, точно капризное дитя. Еще позже он начал страстно молить о смерти, просил убить его, упрашивал Ганса избавить его от страданий, чтобы он мог, наконец, отдохнуть.

Положение становилось невыносимым. Нервное состояние Эдит все увеличивалось, и она чувствовала, что скоро свалится. Она почти не знала отдыха: ее преследовали опасения, что Ганс может поддаться своей мании и убить Деннина пока она спит. Хотя наступил уже январь, многие месяцы должны были пройти, прежде чем какая-нибудь торговая шкуна зайдет в их бухту. Кроме того, они не предполагали зимовать в домике, и запасы провианта были невелики; и вдобавок Ганс не мог охотиться, ибо

они были прикованы к дому необходимостью стеречь своего арестанта.

Чтонибудь должно было случиться, и они это знали. Эдит возвращалась мыслью назад и пыталась вновь и вновь решить вставшую перед ней задачу. Она не могла освободиться от наследства своей расы, от чувства законности, которую она впитала с молоком матери и воспитала в себе годами. Она знала, что все, что она делает, она должна делать согласно закону, и в долгие часы дежурств, с ружьем на коленях, лицом к лицу с беспокойным убийцей, под завывание бури за стенами хибарки, она производила оригинальные социологические *) изыскания и самостоятельно разрабатывала теорию эволюции **) права. Она пришла к заключению, что закон есть ничто иное, как мнения и воля группы людей, независимо от размеров данной группы. «Есть маленькие группы, рассуждала она, например, Швейцария, есть и большие группы, например, Соединенные Штаты». «Далее, продолжала она свои рассуждения, важно насколько мала данная группа людей. В стране может быть не более десяти тысяч жителей, и все же их коллективные ре-

*) Социология—наука о строении и законах развития человеческого общества.

**) Эволюция—постепенное развитие.

шения и воля будут законом для этой страны. Почему же тысяча людей не могут составить группу?» спрашивала она себя. «А если это возможно для тысячи, почему не для сотни? Почему не для пятидесяти? Не для пяти? Почему не для двух?»

Она испугалась собственных выводов и ползла к Гансом. Сначала он не мог сообразить, в чем дело, но, сообразив, наконец, присоединил убедительные доказательства правильности ее заключений. Он говорил о собраниях рудокопов, когда все жители данной местности сходятся, сами устанавливают законы, сами приводят их в исполнение. «Их может быть всего десять или пятнадцать человек», говорил он, «но воля большинства становится законом для всех десяти или пятнадцати, и противостоящий против этой воли, несет наказание».

Для Эдит, наконец, стало ясно, что надо делать. Деннин должен быть повешен. Ганс присоединился к ней. Таким образом, они получили большинство в этой своеобразной группе. Главная воля требовала, чтобы Деннин был повешен. В выполнении этой воли Эдит серьезно настаивала на соблюдении всех обычных формностей, но группа была так мала, что ей совсем приходилось выступать одновременно в качестве свидетелей, присяжных, судей, а также палачей. Она формально обвинила Майкеля

вина в убийстве Датчи и Гаркея, и узник, лежа на своей койке слушал показания, сначала Ганса, потом Эдит. Он отказался признать себя виновным или невиновным, и ответил молчанием на ее вопрос: что он имеет сказать в свое оправдание? Она и Ганс, не поднимаясь с места, прератились затем в присяжных и вынесли свой приговор о виновности обвиняемого. Далее, в качестве судьи, она изрекла приговор. Ее голос дрожал, глаза мигали, левая рука дергалась, но она его изрекла.

— Майкель Деннин, ты приговариваешься к смерти через повешение, и через три дня приговор будет приведен в исполнение.

Таково было постановление суда. Несчастный испустил невольный вздох облегчения, затем выходяще рассмеялся и сказал:

— По крайности, это проклятое логово не будет меня больше мучить, это тоже утешение.

После вынесения приговора, казалось, все испытали чувство облегчения. Особенно это заметно было в Деннине. Всякий след мрачности и протеста исчез в нем, он дружелюбно болтал со своими тюремщиками, даже проблески былого остроумия вернулись к нему. Он находил также большое удовлетворение в Библии, которую Эдит читала ему вслух. Она читала ему из Евангелия, и он проявил большой интерес к историям о блудном сыне и о разбойнике на кресте.

Накануне казни, когда Эдит задала свой обычный вопрос:—Зачем ты это сделал?—Деннин ответил:—Очень просто. Я думаю...

Но она внезапно оборвала его, попросила его подождать и побежала к спящему Гансу. Это было после его дежурства, он с трудом проснулся, ворча и протирая глаза.

— Иди,—сказала она ему,—приведи сейчас же Негука и еще одного индейца. Майкель готов сделать признание. Пусть они придут. Возьми ружье и приведи их тотчас же, во что бы то ни стало.

Полчаса спустя Негук и его дядя Гэдикван были введены в комнату смерти. Они пришли нехотя, Ганс подгонял их своим ружьем.

— Негук,—сказала Эдит,—здесь не будет никакой беды для тебя и твоего народа. Ты должен только сидеть, слушать и понимать.

Таким образом, Деннин, приговоренный к казни, принес публичное покаяние. Он говорил, Эдит записывала его слова, индейцы слушали, а Ганс караулил двери из опасения, чтобы свидетели не сбежали.

— Прошло уже пятнадцать лет,—рассказывал Деннин, как я покинул свой отчий дом на старой родине, и в течение всего этого времени лежал мечту о том, чтобы вернуться туда с большими деньгами и окружить комфортом свою старую мать на исходе ее дней.

— Что мог я сделать с шестнадцатью сотнями долларов?—спрашивал он.—Чего мне хотелось,—так это иметь все золото, все восемь тысяч. Тогда я мог бы вернуться баринном. «Ничего нет легче»,—думалось мне,—«как убить вас всех, донести в Скагвэй, что убили вас индейцы, и затем уехать в Ирландию». И я решил убить вас, но, как говаривал Гаркей, я отрезал себе слишком большой кусок и подавился им. Вот мое признание. Я заплатил дань дьяволу, а теперь—да будет воля Его,—я исполню свой долг перед Богом.

— Негук и Гэдикван, вы слышали слова белого человека?—обратилась Эдит к индейцам.—Все его слова записаны, и вы должны сделать знак на этой бумаге, чтобы белые, которые придут после нас, знали, что вы все слышали.

Оба сиваша поставили кресты против своего имени, затем получили приказание явиться завтра со всем своим племенем, чтобы быть свидетелями дальнейшего, и были отпущены.

Веревки, связывавшие руки Деннина, были несколько ослаблены, чтобы дать ему возможность подписать документ. Затем в комнате воцарилась тишина. Ганс был неспокоен, и Эдит было не по себе. Деннин лежал на спине, глядя прямо перед собой в потолок, из щелей которого торчал мох.

— Теперь я исполнил свой долг перед

Богом,—пробормотал он. Он повернул голову в сторону Эдит.—Читай мне Библию,—сказал он, и прибавил с проблеском юмора:—Может быть, это поможет мне забыть мою койку.

День, назначенный для казни, наступил,—ясный и холодный. Термометр показывал двадцать пять градусов ниже нуля, дул холодный ветер, проникая сквозь платье и пронизывая до мозга костей. В первый раз после многих недель, Деннин поднялся на ноги. Его мускулы так долго оставались бездейственными, и он так отвык от стоячего положения, что едва держался на ногах. Он шатался, спотыкался и хватался связанными руками за Эдит, ища поддержки.

— Право, я совсем больной,—слабо рассмеялся он.

Спустя минуту он прибавил:

— И я рад, что все это кончилось. Проклятая койка была бы моим гробом, знаю.

Когда Эдит одела ему на голову меховую шапку и начала завязывать наушники, он рассмеялся:

— Для чего это?

— На дворе мороз,—ответила она.

— А разве через каких-нибудь десять минут бедному Майкелю Деннину будет не все равно, отморожено у него ухо или нет?—спросил он.

Ее нервы были напряжены до последней степени, и его замечание подействовало на нее, как

удар кнута. До сих пор все казалось каким-то призраком, точно во сне, но грубая правда слов Майкеля широко раскрыла ей глаза на то, что имело место в действительности. Ее мучительный испуг не остался незамеченным со стороны ирландца.

— Мне жаль, что я огорчил вас своими глупыми словами,—произнес он с раскаянием.—Я ничего этим не хотел сказать. Сегодня большой день в жизни Майкеля Деннина, и он весел, как жаворонок.

Он залился веселым свистом, который, однако, быстро перешел в жалобные тоны—и замер.

— Я бы желал, чтобы тут был священник,—произнес он задумчиво, но затем быстро прибавил:—Но Майкель Деннин слишком старый золотопромышленник, чтобы не уметь отказываться от удобств, когда надо отправляться в путь.

Он был так слаб и так отвык от ходьбы, что когда дверь открылась, и он ступил за порог, ветер чуть не свалил его. Эдит и Ганс поддерживали его с обеих сторон, а он пытался шутить и старался быть любезным, но скоро умолк в раздумьи и потом попросил их отослать его долю золота матери в Ирландию.

Они взобрались на небольшой холм и очутились на открытой площадке, окруженной деревьями. Здесь, вокруг опрокинутой на краю бочки, во главе с Негуком и Гэдикваном, со-

брались сиваши со всеми своими детьми и собаками, чтобы увидеть закон белых в действии. Тут же рядом зияла могила, вырытая Гансом в промерзлой земле.

Деннин окинул практическим оком все приготовления, охватил одним взглядом могилу, бочку, толщину веревки и крепость сука, к которому она была привязана.

— Ей Богу, Ганс, я бы сам не сделал лучше, если бы приготовил это для тебя.

Он громко рассмеялся собственной шутке, но лицо Ганса застыло в выражении мрачной неподвижности, из которой, казалось, его не могли бы вывести трубные звуки страшного суда. Ганс чувствовал себя совершенно больным. Он не представлял себе раньше, как невероятно трудно отправить своего ближнего на тот свет. Эдит, напротив того, представляла себе ясно всю трудность этой задачи, но задача от этого не делалась более легкой. Эдит испытывала неудержимое желание кричать, броситься в снег, закрыть руками глаза и бежать без оглядки в лес, куда угодно, только бы подальше отсюда. Лишь крайним напряжением всех своих душевных сил, она заставляла себя стоять прямо и делать то, что считала нужным. И вместе с тем она была благодарна Деннину за то, что он всем своим поведением помогал ей справиться с непосильной задачей.

— Дай мне руку,—сказал он Гансу, стараясь при его помощи взобраться на бочку.

Он нагнулся, чтобы Эдит могла завязать ему веревку на шее. Затем он выпрямился, и Ганс прикрепил конец веревки к суку дерева над его головой.

— Майкель Деннин, ты ничего не имеешь сказать? — спросила Эдит громким голосом, который дрожал, несмотря на все ее усилия.

Деннин переступил с ноги на ногу на бочке, застенчиво опустил глаза, как человек, произносящий свою первую речь, и откашлялся.

— Я рад, что все кончилось,—сказал он.—Вы обошлись со мной по-христиански, спасибо вам за вашу доброту.

— Да примет Господь в свое лоно раскаявшегося грешника,—промолвила Эдит.

— Аминь,—произнес Деннин низким голосом, вторя ей точно эхо,—да примет Господь меня, раскаявшегося грешника.

— Прощай Майкель,—крикнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние.

Она всем своим телом налегла на бочку, но бочка не сдвинулась с места.

— Ганс, живей, помоги!—позвала она слабым голосом.

Она чувствовала, что ее силы иссякают. Ганс постыдил к ней, и бочка выкатилась из-под ног Майкеля Деннина.

Эдит повернулась к нему спиной, заткнула уши пальцами, и вдруг рассмеялась резким металлическим смехом, и этот смех потряс Ганса больше, чем вся предыдущая трагедия. Эдит Нельсон надломилась. Даже в истерике она сознавала это и была рада, что ее сил хватило до конца. Шатаясь, она оперлась на Ганса.

— Отведи меня домой, Ганс,—с трудом вымолвила она.—И позволь мне отдохнуть,—прибавила она вслед за тем.—Да, отдохнуть, отдохнуть...

Поддержанная Гансом, который почти нес ее на руках, она добрела по снегу до хижины. Но индейцы остались и торжественно созерцали закон белых в действии—закон, заставляющий человека танцевать в воздухе.

Перевод Е. Бройдо.



НЕГОР-ТРУС.

Вот уже одиннадцать дней шел он следом за своим бегущим племенем, и он сам, в сущности, тоже не шел, а бежал: за ним по пятам, он это знал отлично, двигались страшные русские, пробираясь сквозь тундры и горы, грозя полным уничтожением его народу. Он шел налегке. Платье в виде спального мешка *) из кроличьих шкурок, простое охотничье ружье и несколько фунтов вяленой трески составляли все его снаряжение. Он мог бы дивиться тому, что целый народ—женщины, дети и старики—в состоянии двигаться так быстро, если бы не знал, какой страх гнал их вперед.

Это было в первые годы оккупации Аляски русскими—в середине 19-го века **); следом за своим бегущим племенем прибыл Негор в эту летнюю ночь к верховьям реки Пилат. Когда он проходил по становищу мимо утомленных соро-

*) На далеком севере, во время ночевки на открытом воздухе, спят в особых меховых мешках — „спальных мешках“.

**) Позже (в 1867 году) Аляска была продана Россией Сев.-Американским Соединенным Штатам. Аляска — полуостров в сев.-западной части Северной Америки; узким Беринговым проливом Аляска отделена от Сибири.

дичей, было уже около полночи, но солнце ярко светило. Многие видели Негора, все его знали, но приветствовали его немногие, и холодны были эти приветствия.

— Негор-Трус!—воскликнула со смехом Ил-лиха, молодая женщина, и Сан-Ни, дочь его сестры, смеялись вместе с нею.

Черный гнев сжедал его сердце, но он и вида не подавал, пробираясь между кострами, пока не достиг костра, у которого сидел старик. Молодая женщина своими искусными пальцами растирала старику натруженные мускулы ног. Старик поднял невидящие глаза и внимательно прислушался, когда под ногой Негора хрустнула сухая ветка.

— Кто идет?—спросил он тонким, дрожащим голосом.

— Негор, — сказала молодая женщина, почти не взглянув на вошедшего, и продолжала свое занятие.

Лицо Негора ничего не выражало. Несколько минут он стоял и ждал. Голова старика опять опустилась на грудь. Молодая женщина растирала и сжимала старые мускулы, стоя на коленях; голова у нее была покрыта, точно облаком, черной копной прекрасных волос. Негор смотрел на это стройное тело, изогнутое в бедрах, как может изогнуться только тело рыси,—тело гибкое, точно ветка молодой ивы,

и вместе с тем, сильное, как сильна бывает только молодость. Он смотрел, и в нем разгоралось желание, могучее, как физический голод. Он спросил:

— Неужели нет и слова приветия для Негора, который так долго отсутствовал и только теперь вернулся?

Женщина посмотрела на него холодными глазами. Старик усмехнулся про себя, как это свойственно старикам.

— Ты моя жена, Уна, — произнес Негор властным голосом, с ноткой угрозы.

С легкостью и быстротой кошки Уна поднялась во весь рост; глаза ее сверкали и ноздри раздувались, как у серны.

— Я была бы твоей женой, Негор, но ты трус; дочь старого Кайнуса не может быть женой труса.

Повелительным жестом она заставила его умолкнуть, когда он пытался заговорить.

— Старый Кайнус и я пришли к вам из чужой страны. Твой народ принял нас к своим кострам и согрел нас, не спрашивая, как и откуда мы явились. Ваши люди думали, что Кайнус ослеп от старости. Ни старый Кайнус, ни я, его дочь, не опровергали этого. Старый Кайнус—смелый человек, но старый Кайнус никогда не был хвастуном. И теперь, когда я расскажу тебе откуда его слепота, ты поймешь, без даль-

нейших вопросов, что дочь Кайнуса не может стать матерью детей труса, такого, как ты, Негор.

Она еще раз заставила его молчать, когда слова готовы были сорваться у него с языка.

— Знай, Негор, что если бы сложить один за другим все пути, пройденные тобою в этой стране, то ты всетаки не пришел бы к неведомой Ситке у Большого Соленого Озера. В том месте живет много русских, и они правят жестоко. И из Ситки старый Кайнус—он был в то время молодым—бежал с ребенком на руках вдоль островов, разбросанных по озеру. Этот ребенок—и была я. Моя умершая мать могла бы рассказать о нанесенной Кайнусу обиде, а русский, пронзенный на смерть копьем, мог бы рассказать о мести Кайнуса.

Но куда бы мы ни бежали, и как бы далеко мы ни бежали, повсюду мы находили ненавистных русских. Кайнус не знал страха, но вид их был невыносим для его глаз, и так мы бежали все дальше и дальше, год за годом, минув одно озеро за другим, пока не дошли до Туманного Большого озера, о котором ты, Негор, слышал, но которого ты никогда не видел. Мы жили среди многих народов, и я выросла и сделалась взрослой женщиной, но Кайнус, войдя в годы, не взял себе другой жены, и я не взяла себе мужа.

Наконец, мы пришли в Пастолик, там, где Юкон впадает в Большое Туманное озеро. Здесь мы долго жили на берегу озера, среди народа, глубоко ненавидящего русских. Но случалось, они приходили, эти русские, на больших кораблях, и заставляли народ Пастолика показывать им дорогу через бесчисленные острова—многорукавное устье Юкона. И случалось, что люди, показывавшие им дорогу, не возвращались обратно; наконец, народ загорелся гневом и придумал план мести.

И вот, когда появилось судно с русскими, старый Кайнус выступил вперед и вызвался показать им дорогу. Он был уже старый человек, и его волосы побелели, но он не знал страха. И он был хитер, потому что он привел судно в такое место, где озеро глубоко врезывается в сушу, и волны бурлят белой пеной, разбиваясь о скалу, которая носит название Романовской. Волны швырнули судно в то место, где они разбивались белою пеной, судно ударилось о скалы и получило пробоины. Тогда пришел весь народ из Пастолика (именно в этом заключался весь план), пришел со своими копьями и стрелами; было также немного ружей. Но еще до их прихода, русские выкололи глаза старому Кайнусу, чтобы он никогда больше не мог указывать им путь; и затем началась битва—в том месте, где волны бьют белой пеной.

Начальником этих русских был Иван. Это он, своими двумя пальцами выдавил глаза Кайнусу. Это он в борьбе проложил себе путь сквозь белые воды, вместе с двумя своими уцелевшими людьми, и вдоль берега Большого Туманного озера пробрался на север. Кайнус был мудр. Он не мог больше видеть, и был беспомощен, как дитя. И вот, он сжал с озера вверх по великому извилистому Юкону, до самого Нулато, и я бежала вместе с ним.

Вот какой подвиг совершил мой отец Кайнус, — старик. А что сделал молодой человек, Негор?

Еще раз заставила она его замолчать.

— Собственными глазами я видела это в Нулато, перед воротами крепости, всего лишь несколько дней спустя. Я видела русского, Ивана, того, который выколол глаза моему отцу, я видела—Иван полосовал тебя, как собаку своим кнутом. Это я видела и узнала, что ты трус. И я не видела тебя в ту ночь, когда весь народ — даже мальчики, не выходящие еще на охоту,—напали на русских и перебили их всех.

— Только не Ивана,—спокойно произнес Негор. — И сейчас он-то именно и гонится за нами по пятам, и с ним много русских, только что прибывших с моря.

Уна не сделала попытки скрыть свое уди-

вление и огорчение по поводу того, что Иван еще жив, но продолжала:

— В тот день я видела тебя трусом; в ту ночь, когда дрались все мужчины,—даже мальчики, не выходящие еще на охоту,—я тебя не видела и узнала, что ты трус вдвойне.

— Ты кончила? Ты все сказала?—спросил Негор.

Уна утвердительно кивнула головой и поглядела на него искоса, как будто удивляясь, что он еще хочет говорить.

— Так знай же, что Негор не трус,—сказал он; и речь его была тиха и спокойна.—Знай, что мальчиком еще я отправился один вниз, в то место, где Юкон впадает в Великое Туманное озеро. Я дошел до Пастолика и даже дальше, на север, вдоль берега моря. Это я сделал, когда был еще мальчиком, и я не был трусом. Не был я трусом и тогда, когда я молодым человеком отправился один вверх по Юкону —туда, куда еще не ступала нога человеческая, так далеко, что я пришел к другому народу; у людей этого народа—белые лица; живут эти люди в большой крепости и говорят на другом языке, непохожем на русский. Я убил также медведя в стране Танана, где никто из моего народа никогда не бывал. И в отдаленных областях я сражался с людьми из племени Нюклэкиэт, из племени Калтач, из племени Стикс, я сражался

один. Вот дела, о которых не знает никто, и о которых я сам рассказываю про себя. О тех делах моих, которые известны моему народу пусть рассказывают другие. Никто не скажет, что Негор-Трус.

Он кончил с гордым видом и гордо выжидал.

— Все это было тогда, когда меня еще не было в этой стране,—промолвила Уна,—и я об этом ничего не знаю. Я знаю только то, что знаю, и знаю, что видела: днем тебя били, как собаку, кнутом; а ночью, когда большой форт был об'ят красным пламенем, и люди убивали и падали убитыми,—я тебя не видела. И твой народ зовет тебя Негор-Трус. Это теперь твое имя—Негор-Трус.

— Это нехорошее имя,—усмехнулся старый Кайнус.

— Ты не понимаешь, Кайнус,—мягко заметил Негор.—Но я скажу все, и ты поймешь. Знай, что я был тогда на охоте за медведем, вместе с Камо-Та, сыном моей матери, и Камо-Та охотился за большим медведем. Мы три дня ничего не ели, а Камо-Та не имел силы в руках и легкости в ногах. И большой медведь смял его так, что кости его хрустели, как сухие ветки. Я нашел его на земле; он был очень болен и стонал. И не было у нас пищи, и не мог я охотой добыть ничего, чтобы дать поесть больному.

И я сказал: «Я пойду в Нулато, принесу тебе пищи и приведу сильных людей, чтобы перенести тебя в кочевье». А Камо-Та отвечал: «Иди в Нулато и принеси пищу, но не говори никому ни слова о том, что со мной случилось. А когда я поем и поправлюсь и сделаюсь достаточно сильным, я убью этого медведя. Тогда я вернусь в Нулато с почетом, и ни один человек не сможет посмеяться надо мной и сказать, что Камо-Та был побежден медведем».

Я взял просьбе брата, и когда я пришел в Нулато, и русский, Иван, опустил на меня свой бич, я знал, что не смею сражаться. Ведь, ни один человек не знал о Камо-Та, больном, стонущем и голодном, и если бы я дрался с Иваном и умер бы, то мой брат умер бы также. Вот почему, Уна, ты видела, что меня били, как собаку.

Далее, я слышал речи шаманов и начальников; они говорили, что русские напускают странные болезни на народ, убивают наших мужчин, крадут наших женщин и что страна должна быть очищена от них. Говорю тебе, я слышал эти речи, и я одобрял их, и я знал, что в ту ночь русские должны быть перебиты. Но там оставался мой брат, Камо-Та, больной и стонущий и голодный; вот почему я не мог остаться и биться в ту ночь, биться наравне со

всеми мужчинами и мальчиками, еще не выходящими на охоту.

И я унес с собою мясо и рыбу, и следы русского кнута на своем теле, но я нашел Камо-Та уже не стонущем, а мертвым. Тогда я вернулся назад в Нулато. Но Нулато—я уже не нашел: груды пепла и горы трупов указывали место, где стоял великий форт. И потом я видел, как русские поднимаются на лодках вверх по Юкону; они только что прибыли с моря, много русских. И я видел, как Иван вылез из убежища, в котором он прятался, и вступил с ними в разговор. И на следующий день я видел Ивана, ведущего их по следам моего племени. И сейчас они в пути, и вот я, Негор, здесь, но я не трус.

— Это все сказки,—произнесла Уна, хотя голос ее звучал мягче, чем прежде.—Камо-Та умер и не может подтвердить твоих слов, и я знаю, лишь то, что знаю. Я должна собственными глазами убедиться, что ты не трус.

Негор сделал нетерпеливое движение.

— Есть много способов, — продолжала она.—Согласен ты совершить подвиг, подобный подвигу старого Кайнуса?

Он молча кивнул головой и ждал.

— Ты только-что сказал, что они и сейчас идут по нашим пятам, эти русские. Покажи им дорогу, Негор, подобно тому, как когда-то по-

казал им старый Кайнус; покажи им дорогу так, чтобы они пришли неподготовленные туда, где мы будем ждать их в ущельи между горами. Ты знаешь то место, где скала обрывиста и высока. Там мы уничтожим их, и Ивана в том числе. Когда они будут ползти, как мухи, по отвесной скале, и когда до вершины скалы будет также далеко как и до подножия, наши мужчины нападут на них и сверху, и снизу—с копьями, стрелами и ружьями. А женщины и дети будут сверху скатывать на них вниз большие камни. Это будет великий день, ибо русские будут перебиты, страна будет свободна, и Иван—и Иван, который выколол глаза моему отцу и бил тебя своим собачьим кнутом, тоже будет убит. Как бешеная собака подохнет он, и испустит последнее дыхание под обломками обрушенных скал. А когда битва начнется, то от тебя, Негор, будет зависеть, скроется тайно, чтоб не быть убитым.

— Пусть так,—ответил он.—Негор укажет им путь. А что потом?

— А потом я буду твоей женой, Негор, женой храбреца. И ты будешь добывать пищу для меня и старого Кайнуса, а я буду готовить на твоём очаге, и буду шить тебе теплые и прочные одежды, и буду делать для тебя мокассы, как они делаются на нашей стороне,—гораздо лучше, чем здесь. И я говорю тебе,

Негор, я буду твоей женой, всегда твоей женой... И я сделаю жизнь твою радостной для тебя, так что все дни твои будут песней и весельем, и ты увидишь, что твоя жена Уна лучше всех женщин, ибо она была в далеких краях и жила в чужих местах, и мудра в делах мужчин, и знает, как сделать их счастливыми. И на старосты лет ты тоже будешь счастлив ею, и воспоминание о том, какою она была в молодые годы—будет сладко, ибо ты всегда будешь знать, что она сделала легкой жизнь твою и дала тебе мир и покой, и что выше всех других женщин была жена твоя.

— Пусть будет так, — сказал Негор, — страсть к ней жгла его сердце, и руки его простерлись к ней подобно тому, как руки голодного человека невольно протягиваются к пище.

— Когда ты укажешь им путь, Негор,—остановила она его; но взор ее был мягкий и горячий, он знал, что она глядела на него так, как и одна женщина никогда еще не глядела на него.

— Хорошо,—сказал Негор, решительно повернувшись на пятках.—Я пойду поговорю с вождями, чтобы они знали, что я иду показывать русским дорогу.

— О, Негор, мой муж! мой муж!—прошептала она про себя, глядя ему вслед, но слова ее были так тихи, что даже старый Кайнус не расслышал их, а у него слух был острый как у слепого.

Но Негор неудачно выбрал себе засаду: три дня спустя—его разыскали, выгнали, как крысу и привели к Ивану—«Ивану Грозному», как называли Ивана люди, шедшие за ним. Негор был вооружен жалким копьём с костяным наконечником, платье из кроличьего меха плотно облегало его тело, и хотя был теплый день, он дрожал, как в лихорадке. Он покачал головой в знак того, что не понимает обращенной к нему речи Ивана, сделал вид, что очень испуган и болен и желает только одного,—оставаться спокойно на месте. Негор тыкал себе пальцем в живот, чтобы дать понять русским, что у него лихорадка, что он болен. Но Иван имел при себе человека из Пастолика, который говорил на языке Негора, и тот задал ему много вопросов о его племени. Негор не отвечал до тех пор, пока человек из Пастолика, по имени Кардэк, не сказал ему:

— Вот тебе слово Ивана: ты будешь бит кнутом до смерти, если не будешь говорить. И знай, чужой брат, если когда я говорю тебе, что слово Ивана закон, то я друг тебе, а не Ивану. Потому что я не добровольно пришел из своей страны у моря, и я очень хочу жить; вот почему я послушен воле своего господина, как и ты бы послушался, чужой брат, если бы ты был мудр и дорожил бы своею жизнью.

— Нет, чужой брат,—отвечал Негор,—я не

знаю дороги, по которой ушел мой народ, потому что я был болен, и они бежали так, быстро, что ноги мои подкосились и я отстал.

Негор ждал, пока Кардэк передавал все это Ивану. Затем, Негор увидал: лицо Ивана потемнело; к Негору справа и слева подошли люди, щелкая кнутами. Тогда Негор выказал страшный испуг, начал кричать громким голосом, что он больной человек и ничего не знает, но скажет все, что знает. И он сообщил нечто такое, что Иван приказал своим людям выступить в поход, а с обеих сторон Негора шли вооруженные люди и следили, чтобы он не убежал. И когда он делал вид, что слаб от болезни, спотыкался и шел не так быстро, как эти люди—они били его бичами так, что он визжал от боли и находил в себе новые силы двигаться дальше.

И когда Крдэк сказал ему, что с ним обойдется хорошо, если достигнуто будет его племя, он спросил только:

— И тогда я смогу отдохнуть и не двигаться?

И так он спрашивал все время: «И я тогда смогу отдохнуть и не двигаться?»

В то время, как он притворялся таким больным и глядел как будто бессмысленно, — он исподтишка успел определить силу Иванова отряда, и с удовлетворением заметил, что Иван

не узнал в нем человека, которого он избил у ворот крепости. В отряде были славянские охотники с красивой кожей и могучими мускулами; низкорослые плотные финны, с плоскими носами и круглыми лицами; сибирские инородцы, с носами наподобие орлиного клюва; и тонкие, косоглазые люди, в жилах у которых текла монгольская и татарская кровь вместе с славянской. Это были все дикие искатели приключений, мародеры и разрушители отдаленных стран за Беринговым морем, которые покоряли новые и неизвестные страны огнем и мечом, и жадно грабили богатства в виде шкур и мехов. Негор смотрел на этих людей и мысленным взором видел их уже побежденными, видел их безжизненными трупами в горном проходе. И неизменно видел он также перед собою лицо и фигуру Уны, ожидающей его в горном проходе, и неизменно слышал он в своих ушах ее голос, и чувствовал нежный, горячий блеск ее глаз. Но ни на минуту не забывал он дрожать и спотыкаться на неровных местах и громко кричать от ударов кнута. Он боялся также Кардэка, ибо видел в нем неверного человека. У Кардэка был фальшивый взгляд и говорил он слишком гладко, — слишком гладко, думалось Негору, чтобы произносить честные слова.

Весь первый день они шли. А на следующий

день на вопрос, заданный Иваном, Негор ответил, что сомневается, чтоб они могли встретиться с его племенем раньше, чем завтра. Но Иван, который помнил дорогу, показанную ему некогда старым Кайнусом, дорогу, которая привела его к белым водам и смертельной битве, ничему не верил. Поэтому, когда они достигли горного прохода, он остановил своих сорок человек и спросил через Кардэка свободен ли путь.

Негор беспечно глянул вперед. Перед ним была широкая расщелина в скале, наполненная щербом и ползучими растениями, где свободно могло бы укрыться не только одно племя, но целый десяток племен. Негор покачал головой.

— Нет, тут ничего нет,—сказал он,—путь чист.

Иван опять сказал что-то Кардэку, и тот передал Негору:

— Знай, чужой брат, если ты говоришь неправду, и твой народ перережет путь и нападет на Ивана и его людей, ты умрешь первым.

— Я говорю правду,—сказал Негор.—Путь чист.

Тем не менее, Иван сомневался и послал двух славянских охотников на разведку. Двое других подошли к Негору. Они приставили дула своих ружей к груди Негора и ждали. Все ждали. И Негор знал, что если пролетит одна стрела

или одно копьё, то смерть его неминуема. Оба охотника, удаляясь, становились все меньше и меньше, и когда достигли вершины и стали махать своими шляпами в знак того, что все благополучно, они казались черными пятнами на небе.

Ружья были отведены от груди Негора, и Иван отдал распоряжение своим людям двигаться дальше. Иван молчал, углубленный в какие-то думы. После часа ходьбы, все еще занятый своими мыслями, он вдруг спросил Негора через Кардэка.

— Как ты узнал, что путь свободен? Ведь ты только мельком посмотрел вперед.

Негор вспомнил маленьких птишек, порхавших между скалами, и улыбнулся,—это было так просто. Но он пожал плечами, и ничего не ответил. Он думал в это время о другом проходе, выше, в горах, к которому они сейчас приближались, и из которого все мелкие птишки уже улетели, и он был рад, что Кардэк пришел с Большого Туманного озера, где нет деревьев и кустов и где люди знакомы с водой, но не знают суши и леса.

Три часа спустя, когда солнце стояло прямо над головой, они подошли к другому проходу выше в горах, и Кардэк сказал:

— Смотри во все глаза, чужой брат, и скажи, свободен ли путь, потому что Иван в такое

позднее время не хочет ожидать, пока люди пойдут на разведку и вернутся.

Негор смотрел, смотрел, а справа и слева стояли люди, приставивши дула ружей к его груди. Он видел, что мелкие птички все улетели, и один раз он заметил даже блеск солнечного луча на ружейном стволе. Он вспомнил Уну и ее слова: «А когда битва начнется, то от тебя, Негор, зависишь ускользнуть потихоньку, чтобы не быть убитым».

Он чувствовал прикосновение двух ружейных стволов к своей груди. Этого она не предвидела. Тут уж никак нельзя было ускользнуть. Он умрет первым, лишь только начнется бой. Но он отвечал, и голос его был тверд, и он не забыл смотреть бессмысленными глазами и дрожать от лихорадки:

— Путь свободен.

И они двинулись дальше в гору,—Иван и его сорок людей из далекой страны за Беринговым морем. И с ними был Кардек, человек из Пастолика, и Негор, с двумя направленными на него ружейными дулами. Это был трудный путь, и они не могли идти быстро; но Негору казалось, что они слишком быстро подходят к середине горы, к тому месту, от которого вершина столь же далека, как и подножие.

Выстрел раздался меж гор справа. Негор услышал воинственный клич своего племени, в

одно мгновение скалы и кусты ожили и наполнились его соплеменниками. В тот же миг он почувствовал, как будто тело его разорвано вдвое взрывом пламени, пронизавшем все его существо, и, падая, он чувствовал муки жизни, жадными когтями впивавшиеся в его плоть, которая стремилась освободиться от жизни.

Но он цеплялся за жизнь, как скупец за свое золото, он не желал расстаться с жизнью. Он глотал воздух, который терзал его легкими мучительно-сладко; при проблесках сознания Негор смутно слышал и видел блески огня и звуки выстрелов; видел охотников Ивана, падающих мертвыми; видел своих собственных братьев, убивающих и наполняющих воздух шумом голосов и звоном оружия; и далеко над ними он видел женщин и детей, сбрасывающих громадные камни, которые прыгали, точно живые существа и с грохотом катились вниз.

Солнце кружилось на небе, тяжелые скалы шатались, и они все продолжал слышать и видеть сквозь туман. А когда могучий Иван, раздавленный камнем, безжизненным трупом упал к ногам Негора, он вспомнил слепые глаза старого Кайнуса и был рад.

Потом звуки стали замирать, и камни перестали грохотать, и Негор видел своих соплеменников: они подходили все ближе и ближе и прокалывали копьями раненых, встречавшихся

им по пути. И рядом с собой он слышал предсмертный хрип русского—русский этот полусидел, и Негор увидел, как жадные до крови копыта пригвоздили русского к земле.

Затем он увидел над собой лицо Уны и почувствовал ее объятия; и на мгновение солнце остановилось и стояло неподвижно, и громадные горы высились прямо и не шатались более.

— Ты храбрый человек, Негор,—услышал он звук ее голоса.—Ты мой муж, Негор.

И в этот один миг он пережил всю радостную жизнь, о которой говорила ему Уна, смех и песни; и когда солнце закатилось в небе, точно на закате его жизни, Негор знал, как сладка память об Уне. И когда самая память Негора померкла и замерла во тьме, стившейся над ним, он в объятиях Уны испытал всю полноту легкости и покоя, которые она обещала ему. И когда черная ночь окутала его, он, на ее груди, испытал великий покой и мир, снизошедший в его душу, и ощутил дыхание сумерек и тайну безмолвия.



ПУТИ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА.

— Пришел варить у вашего огня и спать под вашей кровлей эту ночь,—заявил я, переступая порог хижины старого Эббитса. Старик равнодушно взглянул на меня своими подслеповатыми глазами, а Зилла приветствовала меня кислой миной и презрительной усмешкой. Зилла была его жена, и не было на всем Юконе такой сварливой, злой старой ведьмы, как Зилла. Я бы никогда не зашел сюда, если бы мои собаки не устали так и если бы в деревне оказались еще люди. Но я нашел обитаемой только одну эту хижину, и вот почему мне поневоле пришлось искать себе здесь приют.

Старый Эббитс силился привести в порядок свои перепутанные мысли; проблески сознания то появлялись, то вновь исчезали у него в глазах. Пока я готовил свой ужин, он несколько раз даже задавал мне вежливые вопросы о моем здоровье, о том, сколько у меня собак и в каком они состоянии, и сколько мне удалось пройти в этот день. И каждый раз Зилла делала еще более кислую гримасу и ворчала еще более презрительно.

Должен, однако, сознаться, что и правда моим хозяевам—нечему было особенно радоваться. Они прожили жизнь—и вот, сидели теперь, пригнорюнившись у огня, оба—старые, истощенные и беспомощные, скрюченные ревматизмом, мучимые голодом и соблазнительным запахом приготавливаемого мною ужина. Они тихо и безнадолжно качались взад и вперед, и регулярно, каждые пять минут, Эббитс испускал глухой стон. Это был стон не столько от боли, сколько от усталости: Эббитс был придавлен тяжестью и мукой того, что называется жизнью. Он переживал вечную трагедию того возраста, когда радость жизни исчезает, а инстинкт смерти еще не появился.

Оленина начинала сильно шипеть на моей сковороде, и я замечал, как раздувались и сжимались ноздри Эббитса, когда до них доносился запах жаркого. Старик тогда переставал раскачиваться и забывал стонать, и проблеск мысли появлялся у него на лице.

Зилла, наоборот, качалась все быстрее, и ее мук теперь выражались в коротких резких всхлипываниях. Оба напоминали мне голодных собак, и я бы не удивился, если для полноты аналогии, Зилла внезапно выпустила бы хвост и начала бы стучать им по полу. Эббитс начал хихикать слегка; то и дело он переставал раскачиваться, наклонялся вперед и приближал свои

рожащие ноздри к источнику восхитительных запахов.

Когда я подал каждому из них по миске жаркого, они жадно накинулись на еду, громко гавкая, перебирая гнилыми зубами куски мяса, вдыхаясь и захлебываясь; в то же время они переставали что-то бормотать себе под нос. После еды я дал им по чашке горячего чая—и это бормотанье прекратилось. На лицах у них измнилось выражение покоя и удовольствия. Зилла, в знак удовлетворения, вытянула свое кислое лицо еще больше. Они перестали раскачиваться, казалось, впали в состояние спокойной сосредоточенности. Затем, глаза Эббитса увлажнились, и я увидел в них чувство жалости к самому себе. Долгие поиски трубки ясно указывали на то, что в доме уже давно нет табака; а истрастие старика к наркотикам *)—сделало его до такой степени беспомощным, что я вынужден был сам разжечь ему трубку.

— Почему вы одни в деревне?—спросил я.—Зве все перемерли? Разве тут был мор? И только вы одни и остались в живых?

Старый Эббитс покачал головой и сказал:

— Нет, тут не было мора. Деревня ушла до-

*) Наркотики—вещества, особым образом влияющие на нервную систему человека: в больших дозах действуют усыпляюще или болеутоляюще, в малых—возбуждающе; к числу наркотиков относятся: опиум, морфий и др. лекарственные вещества, а также табак, алкоголь.

бывать пищу. Мы слишком стары, наши ноги ослабели и наши спины не могут вынести тяжести пути. Поэтому мы остались здесь и ждем, когда молодые люди вернутся с пищей.

— А что из того, что молодые люди вернутся с пищей?— жестко спросила Зилла.

— Они могут принести много пищи,—с нажимом произнес Эббитс.

— Даже если и много,—продолжала она еще более жестко.—Что в этом проку для нас с тобой? Несколько костей—нам беззубым старикам. Но хребтовый жир, но почки, но язык,—все это пойдет в другие рты, а не в мой и не в твой, старик.

Эббитс покачал головой и тихонько всхлипнул.

— Нет никого, кто бы поохотился для нас,—вскричала Зилла, грозно поворачиваясь в мою сторону.

В этом чувствовалось безмолвное обвинение в поведении плечами в знак того, что уж я-то тут совсем не при чем.

— Знай, белый человек, что по вине тебе побольше, по вине всех белых, мы с мужем не имеем пищи на старости лет и сидим без табака в холодное время.

— Нет,—важно произнес Эббитс, обнаруживая более строгое чувство справедливости.—Здесь сделано нам, это верно; но белые люди не хотят причинить нам зла.

— Где Моклэн?—спросила Зилла.—Где твой сильный сын Моклэн, и рыба, которую он всегда приносил нам в пищу?

Старик покачал головой.

— И где Бидаришник, твой сильный сын? Он всегда был отличный охотник, и всегда приносил тебе хороший хребтовый жир и сладкие сушеные языки оленя и карибу. Я не вижу теперь жира и сладких сушеных языков. Твой желудок пуст, и человек из жалкого и лживого племени должен дать тебе поесть.

— Нет,—мягко заметил старый Эббитс.—Белые не из лживых людей. Белые говорят правду. Белые всегда говорят правду...—Он замолчал: он подыскивал слова, чтобы точно определить важность обвинения, которое он собирался высказать.—Но белые говорят правду различными путями. Сегодня они говорят одну правду, а завтра другую правду, и никак нельзя понять ни их, ни их правды.

— Сегодня говорить одну правду, а завтра другую,—это и значит лгать,—изрекла Зилла.

— Никак не понять белых людей,—продолжал Эббитс с упрямым видом.

Пища, чай и табак как-будто вернули его к жизни, и теперь он, казалось, ухватил, наконец, мысль, проглядывавшую в его старческих глазах. Он словно выпрямился, перестал ныть и охать, голос его сделался твердым и уверенным. Он по-

вернулся ко мне с достоинством и обратился, как равный к равному.

— У белого человека глаза не закрыты,—начал он.—Белые люди видят все, и думают много, и очень мудры. Но сегодняшние белые люди не похожи на завтрашних белых людей, и поэтому их нельзя понять. Одно и то же они нынче делают так, завтра—иначе. И никак не узнаешь, что они сделают в следующий раз. Индеец делает одно и то же всегда одинаково. Оленя всегда спускается вниз с высоких гор, когда наступают зима. Треска всегда приходит весной, когда исчезает лед на реке. Все идет одним путем же путем, и индейцы эти пути знают и понимают их. Но у белых иные пути, и индейцу их никак не понять.

Табак очень хорошая вещь. Он служит пищей голодному человеку. Он делает сильного человека еще сильнее, заставляет огорченного забыть свое огорчение. За это табак и ценится. Он имеет очень большую ценность. Индеец дает большую треску за один лист табака и жует табак долго. Именно сок табака особенно хорош. Когда этот сок стекает вниз по горлу, человек чувствует себя хорошо. А белый человек? Что делает он, когда у него рот полон табачного сока? Этот сок, такой драгоценный, он выплевывает на снег, и сок пропадает даром. Любят ли белые люди табак? Я не знаю. Но если

они любят табак, то зачем же они выплевывают его ценность на снег,—зачем они бесполезно трагуют табак? Это большая глупость, и этого никак не понять.

Эббитс остановился, попыхивая трубкой, заметил, что она потухла, и передал ее Зилле; Зилла вынуждена была оставить свою неизменную презрительную усмешку по адресу белых людей для того, чтобы прочистить трубку своими старческими губами. Эббитс как будто вернулся в состояние старческого забытья, не досказав своего рассказа, и поэтому я спросил его:

— Что же с твоими сыновьями, Мокленом и Бидаршиком? И как случилось, что ты и твоя жена остались без пищи на старости лет своих?

Эббитс встрепенулся, как ото сна, и с усилием выпрямился.

— Нехорошо красть,—сказал он.—Когда собака утащит твою пищу, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Это закон, который человек создал для собаки, и собака должна жить сообразно этому закону, если она не хочет, чтоб ей было больно от ударов палки. Когда человек возьмет твою пищу, твою лодку, или твою жену, ты убьешь его. Таков закон, и это—закон хороший. Нехорошо красть, и поэтому есть закон, что человек укравший, должен умереть. Кто нарушает закон, должен нести строгое наказание. Смерть—большое наказание.

— Но если вы убиваете человека, почему вы не убиваете собаки?—спросил я.

Старый Эббитс взглянул на меня с детским удивлением, а Зилла откровенно захихикала: настолько нелепым показался ей мой вопрос.

— Это обычай белого человека,—пробормотал Эббитс покорно.

— Это глупость белого человека,—прошептала Зилла.

— Тогда пусть старый Эббитс научит белого человека уму,—мягко заметил я.

— Собаку не убивают, потому что она должна тащить сани человека. Ни один человек не тащит саней другого человека, и поэтому человека можно убить.

— О!—пробормотал я.

— Таков закон,—продолжал Эббитс.—Слушай теперь, белый человек, я расскажу тебе об одной большой глупости. Тут есть индеец. Его зовут Мобитс. Он украл у белого два фунта муки. Что же сделал белый человек? Побил он Мобитса? Нет. Убил он Мобитса? Нет. Что же он сделал с Мобитсом? Я расскажу тебе, белый человек. У белых есть дом. Они привели Мобитса в этот дом. Крыша на доме хорошая. Стены толстые. Они развели огонь, чтобы Мобитсу было тепло. Они дали Мобитсу много пищи. Хорошую пищу. Никогда во всю свою жизнь Мобитс не ел такой

пищи. Ему давали ветчину, и хлеб, и бобы без конца. Хорошие дни настали для Мобитса.

На дверях там огромный замок, чтоб Мобитс не мог убежать. Это тоже большая глупость. Мобитс не хочет бежать оттуда. Там всегда много пищи, и теплые одеяла, и большой огонь. Очень глупо убежать оттуда. Мобитс не глуп. Три месяца оставался Мобитс в том месте. Он украл два фунта муки. За это белые люди очень заботились о нем. Мобитс съел много фунтов муки, много фунтов сахара, ветчины, бобов без конца. Мобитс пил также много чая. Через три месяца белые люди открыли двери и сказали Мобитсу, что он должен уходить. Но Мобитс не хочет уходить. Он похож на собаку, которую долго кормят на одном месте. Он хотел остаться в том месте, и белые должны были силой прогнать его. И Мобитс вернулся в эту деревню очень жирным. Вот каковы пути белого человека, и их нельзя понять. Это глупость и большая глупость.

— Но сыновья твои?—настаивал я.—Где твои сильные сыновья и отчего ты терпишь голод на старости лет?

— Начну с Моклэна,—сказал Эббитс.

— Он был сильный человек,—прервала мать.—Он мог грести день и ночь и никогда не бросал весел, чтобы отдохнуть. Он хорошо знал все повадки трески и силу воды. Он был очень мудрый.

— Начну с Моклэна,—повторил Эббитс, не обращая внимания на слова жены.—Весной он спустился вниз по Юкону с молодыми людьми, чтобы продать рыбу в форте Кембэлл. Там находится пост, там у белых много запасов и там есть торговец Джонс. Есть там и доктор для белых людей, которого вы называете миссионером. Но там дурная вода, у Кембэлл-форта. Там русло Юкона узко, как бедра у девушки, а вода—сильная, и разные течения сходятся в одном месте, образуя водовороты; там течение все время меняется, и поверхность воды меняется, и она никогда не бывает одинаковая. Моклэн,—мой сын, поэтому он храбрый человек.

— А разве мой отец не был храбрым человеком?—перебила Зилла.

— Твой отец был храбрый человек,—согласился Эббитс, с таким видом, как будто желал сохранить мир в своем доме какой угодно ценой.—Моклэн твой сын и мой, и поэтому он храбрый человек. Может быть, благодаря твоему храброму отцу. Моклэн слишком храбр. Если налить слишком много воды в горшок, то она убежит через край. Так и в Моклэна было вложено слишком много храбрости, и она переливалась через край.

Молодые люди очень боялись дурной воды в Кембэлл-форте. Но Моклэн не боялся. Он громко смеялся: «Го-го!» и спустился в дурную воду.

Но на том месте, где течения сходятся, лодка перевернулась. Водоворот схватил Моклэна за ноги, и он пошел кругом и кругом, все ниже и ниже, и больше уже не показывался.

— Ай, ай!—заголосила Зилла.—Он был ловок и мудр, мой первенец.

— Я отец Моклэна,—сказал Эббитс, терпеливо давая женщине выплакаться.—Я сел в лодку и спустился в Кембэлл-форт, чтобы взыскать долг.

— Долг?—прервал я.—Какой долг?

— Долг от Джонса, главного торговца,—был ответ.—Таков закон путешествия по чужой стране.

Я кивнул головой, признавая свое невежество; Эббитс посмотрел на меня с сожалением, а Зилла, по своему обыкновению, презрительно хмыкнула носом.

— Видишь ли, белый человек,—продолжал Эббитс.—Положим, в кочевье завелась собака, которая кусается. Когда собака укусит человека, ты даешь ему подарок, потому что ты огорчен и потому, что это твоя собака. Ты платишь деньги. Разве не так? Точно также, если в твоей стране плохая охота или дурная вода, ты тоже должен платить. Это закон. Разве брат моего отца, отправившись в страну Танана, не был убит там медведем? И разве племя Танана не уплатило за это моему отцу много одеял и красивых

шкур? Это было справедливо. Вышла плохая охота, и народ Танана уплатил за плохую охоту.

И вот, я, Эббитс, спустился в Комбэлл-форт; чтобы взыскать долг. Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и рассмеялся. Он подвиг громкий смех и не заплатил ничего. Я обратился к доктору, которого вы называете миссионером, и много говорили с ним о дурной воде и о вознаграждении, которое мне должны уплатить. А миссионер перевел разговор совсем на другое. Он говорил о том, куда ушел Моклэн теперь, после смерти. Там большие огни в том месте, и если миссионер говорил правду, то я знаю, что Моклэну там не холодно. Говорил также миссионер о том, куда я уйду, когда умру. И он говорил плохие вещи. Он сказал, что я слеп. А это ложь. Он сказал, что я нахожусь во тьме. И это тоже ложь. Я сказал ему, что день настаёт и ночь настаёт для всякого человека в одно и то же время, и что в моей деревне не более темно, чем в Кембэлл-форте. Я сказал ему также, что тьма и свет и место куда мы уходим после смерти,— совсем другое дело и не имеет отношения к уплате справедливого долга за дурную воду. Тогда миссионер очень рассердился, обругал и прогнал меня. И я вернулся назад из Кембэлл-форта, никакой платы я не получил, и Моклэн умер. И вот, в дни своей старости я сижу без рыбы и без мяса.

— Все из-за белых людей,—вставила Зилла.

— Все из-за белых людей, — подтвердил Эббитс.—И еще другое зло причинили мне белые люди. Был у меня другой сын—Бидаршик. Белые обошлись с ним совсем иначе, чем обошлись они с Ямиканом—за то же самое дело. Я сначала должен рассказать тебе о Ямикане; это был молодой человек из нашей деревни, и ему случилось убить белого человека. Не хорошо убивать человека из чужого племени. Всегда это приносит большую беду. Это было не по вине Ямикана, что он убил белого человека. Ямикан всегда был кроток и бежал от гнева, как собака от палки. Но этот белый выпил много виски и затем, ночью, пришел в дом Ямикана и затеял большую драку. Ямикан не мог убежать, и белый человек хотел убить его. Ямикан не хотел умирать, и потому он убил белого человека.

Вся деревня очень взволновалась. Мы очень боялись, что нам придется уплатить большой выкуп белому народу, и мы спрятали все наши одеяла и наши шкуры и все наше добро, так, чтобы белые подумали, что мы очень бедны и можем уплатить лишь совсем малый выкуп. Спустя много времени белые люди пришли. Это были солдаты белых, и они забрали Ямикана с собой. Его мать подняла громкий плач и посыпала себе пеплом голову, потому что считала Ямикана погибшим. И вся деревня считала Ями-

кана мертвым, и все радовались, что не пришлось платить ничего.

Это было весной, когда лед на реке стоял. Прошел год, прошел другой. Опять наступила весна, и опять на реке стоял лед. И вот, Ямикан, которого мы считали мертвым, вернулся к нам назад. Он не только не умер, но очень растолстел, и мы узнали, что он спал в тепле и имел много пищи. У него было много красивых платьев, таких же, как и у белых; он набрался много мудрости и сделался первым человеком в деревне.

И он рассказывал много странных вещей о путях белого человека: он видел множество белых людей и совершил большое путешествие вглубь страны белых. Сначала белые солдаты долго везут его вниз, пока река не впадает в озеро, более обширное, чем вся земля, широкое, как небо. Я не знал, что Юкон такая большая река, но Ямикан видел это собственными глазами. Я не думал, чтобы озеро могло быть больше, чем вся земля и могло быть шире, как небо, но Ямикан это видел. Он рассказывал также, что вода в озере соленая, что очень странно и непонятно.

Но белый человек сам знает все эти чудеса, и я не стану утомлять его рассказом о них. Я хочу только рассказать, что случилось с Ямиканом. Белые давали Ямикану много хорошей

пищи. Все время Ямикан ел, и все время было изобилие пищи. Белые люди, говорит Ямикан, живут под солнцем, и там очень тепло; и животные там покрыты только короткими волосами, а меха на них нет; и зелень там растет высоко и дает муку, и бобы, и картофель. И под солнцем никогда не бывает голода. Там всегда много пищи. Я не знаю, но Ямикан так говорит.

И странные вещи случились с Ямиканом. Иногда белые люди не били его. Они только давали ему теплую постель на ночь, и много хорошей пищи. Они перевезли его через соленое озеро, широкое, как небо. Его посадили на огненную лодку, которую вы называете пароходом, но та лодка была, пожалуй, в двадцать раз больше, чем пароходы на Юконе. Кроме того, она сделана из железа, эта лодка, и все же не тонет. Этого я не могу понять, но Ямикан говорит: «Я ездил далеко на железной лодке; и смотри,—я жив». Это солдатская лодка белых и на ней много солдат.

После многих ночей пути, через много времени, Ямикан приехал в страну, где нет снега. Я не могу поверить этому. Это не в природе вещей, чтобы не было снега, когда наступает зима. Но Ямикан сам видел. Я спрашивал также Белых людей, и они подтверждают, что, действительно, нет снега в той стране. Но я не могу поверить, и теперь я спрашиваю тебя—неужели

никогда не бывает снега в той стране? Я слышал также название этой страны. Я слышал его раньше, но я хочу услышать еще раз, так ли это страна, тогда я узнаю, слышал ли я ложь или правду.

Старый Эббитс поглядел на меня с сумрачным видом. Он хотел узнать истину во что бы то ни стало, хотя в то же время ему хотелось сохранить свою веру в чудо, которого он никогда не видел.

— Да,—отвечал я.—Ты слышал правду. Там нет снега в той стране, и зовется она Калифорния.

— К а л и ф о р н и я, — прошептал Эббитс раз, и другой, и третий, внимательно прислушиваясь к странным звукам, из которых состояло это слово. И в такт он качал головой.—Да, это та же страна, о которой говорил Ямикан.

Я должен был признать, что случай с Ямиканом вполне мог иметь место в первое время после перехода Аляски во владение Соединенных Штатов. Если такое убийство случилось до того, как были введены соответствующие законы и установлены соответствующие власти, то дело, очень возможно, могло быть передано на рассмотрение областного суда, куда-нибудь на юг.

— Когда Ямикана везли в страну, где нет снега,—продолжал старый Эббитс,—его привели в большой дом, где множество людей говорили

длинные речи. Долго говорили эти люди. Много вопросов задавали они Ямикану. Все время говорили они Ямикану, что ему нечего больше беспокоиться. Ямикан не понимал, потому что он никогда и не беспокоился. Все время они давали ему теплое место для сна и много пищи.

Но после этого они стали давать ему еще лучшую пищу, и они дали ему денег, и возили его по многим местам в стране белых людей, и он увидел много диких вещей, которые Эббитсу непонятны: Эббитс стар и ни в какие дальние страны не ездил. По прошествии двух лет, Ямикан вернулся в эту деревню, сделался старшиной и был очень мудр, до самой своей смерти.

Но прежде чем он умер, он часто сидел у моего огня и рассказывал о диких вещах, которые он видел. И Бидаршик, мой сын, тоже сидел у огня и слушал, и глаза его широко раскрывались, когда он слушал эти странные вещи. Однажды ночью, когда Ямикан ушел домой, Бидаршик вдруг поднимается, такой высокий, ударяет себя кулаком в грудь и говорит: «Когда я стану взрослым мужчиной, я отправлюсь в далекие места вплоть до страны, где нет снега, и увижу собственными глазами все эти вещи».

— Бидаршик всегда ездил очень далеко,—с гордостью встала Зилла.

— Это верно,—важно подтвердил Эббитс.—И всегда он возвращался, чтобы сидеть дома, у огня, и рваться всем сердцем в далекие и неизвестные места.

— И всегда он вспоминал соленое озеро, огромное, как небо, и страну под солнцем, где нет снега,—сказала Зилла.

— И всегда он говорил: «Когда сделаюсь совсем сильным мужчиной, я отправлюсь в путь и сам погляжу—верно ли все, что говорит Ямикан»,—продолжал Эббитс.

— Но не было пути, чтобы отправиться в страну белых,—заметила Зилла.

— Разве он не спустился вниз к соленому озеру, широкому как небо?—спросил Эббитс.

— Но не было ему пути, чтобы перебраться через это соленое озеро,—сказала Зилла.

— Кроме, как в огненных лодках белых людей, сделанных из железа и более обширных, чем двадцать пароходов на Юконе,—продолжал Эббитс. Он сумрачно взглянул на Зиллу; иссохшие губы ее уже растянулись было, чтобы говорить, и Эббитс заставил ее молчать.

— Но белые не пустили Бидаршика в огненную лодку, шедшую через соленое озеро, и он вернулся, чтобы сидеть дома у огня и рваться всем сердцем в страну под солнцем, где нет снега.

— Но на соленом озере он видел огненную

лодку из железа, которая не тонула,—вскричала Зилла с неудержимым желанием говорить.

— Да,—промолвил Эббитс,—и он узнал, что Ямикан рассказывал правду о тех вещах, которые он видел. Но Бидаршик не имел возможности переправиться в страну белых—туда, где солнце, и он стал больной и слабый, как старик, и не отходил от огня. Он перестал ходить на охоту, чтобы добывать пищу...

— И он перестал есть пищу, которую ставили перед ним,—перебила Зилла.—Он качал головой и говорил: «Я буду есть только пищу белых людей, и сделаюсь жирным, как Ямикан».

— И он перестал есть,—продолжал Эббитс.—И болезнь Бидаршика перешла в тяжкую болезнь, так что я думал, он умрет. Это была не болезнь тела, а болезнь головы. Это была болезнь желания. Я, Эббитс, его отец, задумал великую думу. У меня нет больше сыновей, и я не хотел, чтобы Бидаршик умер. Это головная болезнь, и есть только один способ излечить ее. Бидаршик должен переехать озеро, широкое, как небо, в страну, где нет снега, иначе он умрет. Я долго думал и, наконец, нашел способ переправить Бидаршика. И вот, однажды ночью, когда он сидел у огня, очень больной, опустив голову вниз и сказал: «Сын мой, я нашел способ для тебя переехать в страну белых». Он взглянул на меня, и лицо у него повесе-

лело. «Иди,—сказал я,—тем путем, каким шел Ямикан». Но Бидаршик был болен, и не понял сразу. «Ступай,—сказал я,—найди белого человека, и, подобно Ямикану, убей его. Тогда придут солдаты белых, возьмут тебя, как они взяли Ямикана, и отправят тебя через соленое озеро в страну белых. И затем, также, как Ямикан, ты вернешься назад жирным, с глазами, полными чудес, которые ты там увидишь, с головой наполненной мудростью».

И Бидаршик вскочил живо на ноги и протянул руку за своим ружьем. «Куда ты идешь?»—спросил я.—«Убить белого человека»,—отвечал он. И я увидел, что слова мои не прошли мимо ушей Бидаршика и что он выздоровеет. Я знал также, что слова мои мудры.

Жил у нас один белый. Он не рыл золота в земле, не ходил на зверя в лес. Все время он искал жуков и мух. Он не ел этих жуков и мух,—зачем же он искал их? Я не знаю. Я знаю только, что это был очень смешной белый человек. Он искал также яйца птиц. Он не ел яиц. Все, что находилось внутри яйца, он выбрасывал, и брал себе только скорлупу. Яичная скорлупа не годится в пищу. Он и не ел этой скорлупы, а укладывал ее в коробки, где она не ломалась. Он убивал много маленьких птиц. Но он не ел птиц. Он брал только шкурки и укладывал их в ящики. Любил он также

кости. Кости не годятся в пищу. А этот странный человек больше всего любил кости совсем старые, которые он откапывал в земле.

Но он не был злым белым человеком, и я знал, что ему будет очень легко умереть, и я сказал Бидаршику: «Сын мой, вот тебе белый, которого ты можешь убить». И Бидаршик понял, что мои слова мудры. И он пошел в одно место, где—он знал—имеется много костей в земле. Он откопал множество костей и понес их этому белому. Белый человек очень обрадовался. Его лицо сияло, как солнце, и, глядя на груды костей, он улыбался с великой радостью. Он наклонил голову вот так, чтобы лучше рассмотреть кости, и тогда Бидаршик сильно ударил его по голове топором, один раз, вот так, и странный белый человек свернулся и умер. «Теперь,—сказал я Бидаршику,—придут солдаты белых и возьмут тебя в страну под солнцем, где ты будешь много есть и сделаешься жирным». Бидаршик счастлив. Болезнь уже покинула его, и он сидит у огня и дожидается прихода белых солдат.

Как я мог знать, что белые люди никогда дважды не идут одним и тем же путем?—спросил старик, грозно повернув ко мне свое лицо.—Как я мог знать, что то, что белые люди делали вчера, они не повторят сегодня, и то, что они делают сегодня, они не сделают завтра?—Эббитс печально покачал головой.

— Невозможно понять белых людей. Вчера они взяли Ямикана в страну под солнцем, и откормили его обильной пищей. Сегодня они взяли Бидаршика и, — что же они сделали с Бидаршиком? Я расскажу тебе, что они сделали с Бидаршиком. Я, Эббитс, его отец, расскажу тебе об этом. Они взяли Бидаршика в Кембэлл-форт и повязали ему веревку вокруг шеи, вот так, и когда ноги его перестали касаться земли, — он умер.

— Ай, ай! — заголосила Зилла. — И никогда уже ему не переехать через озеро, широкое, как небо, и никогда не увидеть ему страны под солнцем, где не бывает снега.

— Вот почему, — произнес старый Эббитс с важностью и достоинством, — нет никого, кто бы охотой добыл мне, старику, мясо, и я сижу голодный у своего огня и рассказываю свою повесть белому человеку, который дал мне пищу, и крепкий чай, и табак для моей трубки.

— Все из-за лживого, жалкого белого племени, — проскрежетала Зилла.

— Нет, — возразил старик, с деликатной настойчивостью. — Из-за того, что пути белого человека непонятны, и что эти пути всегда бывают разные.

Перев. с английского Е. Бройдо.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Джек Лондон.

Важнейшие статьи на русском языке о Д. Лондоне:

- А. Дерман — в „Заветах“, 1912 г. № 7.
Л. Андрусон — в „Новом Журнале для Всех“, 1912 г. № 8.
Е. Колтоновская — в „Вестнике Европы“, 1912 г. № 9.
В. Тав — в „Новой Жизни“, 1912 г. № № 11 — 12 (статья „Новая Америка“).

А. Куприян — в „Собрании Сочинений“, т. X.

К. Чуковский — в сборнике „Лица и маски“, Спб. 1914.

С. Левинова — в „Летописи“, 1916 г. № 12.

Автобиография Д. Лондона вышла в издании „Универсальной Библиотеки“ (М. 1916); биография, написанная Р. Рубиновой, — в „Юной России“, 1913 г., № № 11 — 12 и отдельно (Джек Лондон, М. 1917).

* * *

Собрания сочинений Д. Лондона в русском переводе вышли в издании „Athenaeum“ (22 т. М. 1910—1916) и в издательстве „Прометей“ Н. Михайлова (18 т. Спб. 1912—1915), не считая незаконченных изданий в приложениях к журналам „Новая Жизнь“ (4 кн. 1913), „Живое Слово“ (7 т. в 16 кн. 1913—1914) и „Север“ (4 кн. 1913).

СГЛАВЛЕНИЕ.

Любовь к жизни	5— 42
Нежданное	43— 80
Негор-трус	81—100
Пути белого человека	101—122

Перевод с английского Е. Бройдо.

Библиография	123
------------------------	-----

